

◆◆ лучшие романы о любви ◆◆

Галина
Талаланова



Бег по краю

Annotation

Ее не учили любить... ни в школе, ни дома не рассказали, что такое настоящая любовь.

Проходит детство, начинается взрослая жизнь. В ней есть все: семья, муж, дети. И есть любовь... всепоглощающая... Как ураган набрасывается она на близких: крепко держит их рядом, под надзором, на расстоянии вытянутой руки. А хочется еще ближе. Притянуть, обнять, задушить в объятиях, только бы не уходили, не устраивали личную жизнь, не отдалялись!

Нас не учили любить... Мы не знаем, что любовь – это сила, порой разрушительная и эгоистичная. Она как тяжелое бремя ложится на плечи самых близких людей.

Может, пора учиться любить?..

Галина Таланова

Бег по краю

«Бег по краю» – роман об одиночестве, невосполнимых потерях, но и о любви, внешне спокойной и полноводной, на глубине которой бурлят подводные ключи.

«Литературная газета»

Качаясь на волнах...

*Хоть корка льда с реки сошла,
Гребу с трудом – на середине.
На воздух весла подняла —
И обомлела: весла в тине!..* [\[1\]](#)

Вот и все. Лотерейная шапка пуста. Все билеттики разыграны. Дальше одинокая и немощная старость. Медленное переползание изо дня в день, что похожи друг на друга, словно подсолнечные семечки, которые она пристрастилась лузгать по вечерам, сидя на своей обшарпанной кухне. Целый ворох ошурков, напоминающих один другой, которые слетали невзначай со стола, зацепившись за протертый рукав байкового халата, и застревали в щелях разошедшегося пола, поблескивая оттуда обнажившимися белесыми зубами, нещадно изъеденными кариесом. Жизнь без целей. Последнюю цель жизни она достойно выполнила: три новеньких памятника из черного мрамора, соединенных полукруглой карминовой аркой, напоминающей заходящее за горизонт солнце, что уютно расположилось на фоне трех мачт-крестов от затонувших кораблей. Все близкие уплыли. Только ей еще предстоит долгое плавание по серому безлюдному морю на плохо управляемом корабле. Руки почти слушаются капитана. Их все тяжелее поднимать и держать ими штурвал. Крутить штурвал еще тяжелее. Старое колесо заржавело и давно не смазано. Скрежет страшный – и не поймешь: то ли это в штурвале скрипит, то ли льды скрежещут об обшивку корабля, как у Амундсена. Но тот-то хоть покорял Северный полюс... А ей-то что покорять? И так ясно, что впереди вечная мерзлота... Она уже приближается. Кисти рук давно ледяные, как у снежной бабы. Два неловко слеplенных кулачка... Закоченевшие пальцы вцепились в метлу – их не разжать... Метлу выпускать нельзя. Она поддерживает в порядке тротуары, чтобы дорожка всегда не запорошенная была, чтобы остановившиеся прохожие в сугробы не врастали. Только вот пальцы не гнутся почему-то... Участковый врач принес мячик наподобие теннисного. Сказал, что им хорошо разрабатывать негнувшиеся пальцы, ставшие похожими на какие-то узловатые корнеплоды, выдернутые из грядки. И сердце тоже давно ледяное. Как будто под анестезией. Сделали укол – и чувствовать перестала. Только вот слегка перекосило, но это ничего. Это птица с одним перебитым крылом не взлетает, теряя равновесие... А ей-то куда теперь лететь? В теплые края поздно: перелета не осилить, а гибнуть она уже не хочет. Зачем гибнуть, если и так под наркозом? Пингвин на льдине, мягко укутанной белыми сугробами, как ватой, в море ушедших на дно парусников.

Впрочем, ей еще уготовано, наверное, пережить своего кота. Кота кличут Карабас. Так назвала его Василиса, ее дочь, за то, что кот не был ученым. Он не только не рассказывал сказок, но долго и упорно отыскивал каждый раз себе новый горшок в чьей-нибудь брошенной тапке. Кот был грязно-рыжим, словно крашеное пасхальное яйцо. Сейчас кот раскачивался на занавеске, грозя обрушиться на свою голову гардину. Лидия Андреевна вдруг подумала, что она в чем-то даже похожа на этого кота... Она тоже любила раскачивать ситуацию до тех пор, пока что-то не случилось: или гардина с грохотом опрокинутого дома падала, или с пронзительным шуршанием срываемого маскарадного костюма разрывалась ажурная занавеска, или рушилась сама стена шалаша, утянув за собой наглухо привинченную к ней портьеру.

Она прожила счастливую, но трудную молодость. Впрочем, и в сорок пять – она считала себя рябиной, прихваченной легким морозцем, тем, от которого исчезает порядком надоевшая осенняя грязь, а ягоды перестают горчить и оставлять на языке терпкий вяжущий вкус, сковывая готовые сорваться с губ слова, и становятся, наконец, сладкими.

Думала ли она когда-то в своем по-своему счастливом детстве, что родившись в

деревянном домишке с туалетом на улице, ходя по расквашенному нудными осенними дождями или пьяному весенним половодьем бездорожью в сельскую школу, находившуюся за четыре километра от дома, о том, что будет когда-нибудь жить в крупном городе в доме на главной набережной с видом на Волгу, в четырехкомнатной «сталинке» с потолками высотой в три метра; будет иметь мужа, которого бы хотели заполучить все ее подруги, и двоих прекрасных детей, да кавказскую овчарку и кота в придачу, и к тому же станет важной персоной на работе, зарабатывающей ничуть не меньше своего благоверного?

Нет, не думала. Почему Бог, даруя одной рукой, отбирает другой? Чтобы она поняла, что была счастлива? Что имеем не храним, потерявши плачем... Но она-то хранила. Никто не мог упрекнуть ее в том, что она плохая жена, мать, сноха, руководитель... Никто... Тогда почему?

Шел 1992 год. В ее отутюженной жизни все внезапно поменялось. Началось с того, что она, получив зарплату, зашла после работы, как обычно, в гастроном и обнаружила, что ее зарплаты не хватит на килограмм сыра или сливочного масла. Сначала она решила, что плохо разглядела ценники и достала из сумки свои новенькие очки со стеклами на диоптрию больше старых. Она ходила от прилавка к прилавку, чувствуя себя Алисой в Стране чудес. Она даже ущипнула себя легонько за кожицу на внешней стороне кисти, что начинала напоминать мятую пергаментную бумагу, которой она ежегодно завязывала банки с яблочным мармеладом, варившимся в изрядных количествах, что было довольно долго и нудно, но это был единственный продукт переработки ее сада, засаженного двадцатью пятью яблонями, продукт, который ее дети ели с охотой... Потом подумала, что продавцы что-то напутали с ценниками... Радуюсь чужой шутке, она со смехом спросила продавщицу, кто у них пребывает в «белой горячке» после новогоднего празднования, и получила ответ, что это не у них...

В соседних магазинах было то же самое...

Так началось время, с которого она теперь ведет отсчет. Сначала они жили даже вполне сносно по сравнению со многими ее знакомыми. Ни дети, ни муж в ее доме никогда раньше не ели каш. Поэтому у нее в буфете скопилось изрядное количество всяких круп, которые теперь постепенно извлекались из небытия. В некоторых, правда, завелись маленькие черные жучки, и крупы приходилось прожаривать в духовке, а потом извлекать маленьких лаковых насекомых, похожих на бусины. Но ведь гречку она и раньше «выбирала». Сливочное масло она теперь не покупала, а брала маргарин. Одну пачку в месяц. На всю семью. Раз в месяц ей удавалось приобрести даже курицу, из которой получалось сварганить и первое, и второе. На первое шел бульон, который она чем-нибудь заправляла, чаще всего капустой, а мясо вылавливала – и готовила второе. Конфет больше не покупали. Только ириски «Золотой ключик», 100 грамм на праздник. Но зато было доедено все варенье, лет пять хранившееся в гараже. Теперь она очень часто пекла блины из толокна. Толокно она нашла у себя на даче, целых 8 килограммов, и даже не помнит, откуда оно взялось, должно быть, еще мама зачем-то покупала в своем сельпо. Она просеивала его через сито, а потом уже пекла блинчики. Долгий процесс, конечно, но что делать? Надо было чем-то кормить семью. Блины немного горчили, но они их ели с плавлеными сырками «Орбита», которые имели жирность 15 % и раньше стоили шестнадцать копеек, но их все равно мало кто покупал... А теперь было очень даже вкусно. Блины подогревались до хрустящей корочки, в них завертывался кусочек сырка... У всех за ушами только трещало...

Зарплату на лакокрасочном заводе, где она работала начальником цеха, выдавали теперь с опозданием месяца на два-три, то же самое было и у мужа. Но она, к счастью, выработала «вредность» и теперь получала еще и пенсию. Зарплата дочери была ниже, чем ее пенсия. Василиса работала младшим научным сотрудником в НИИ. Ей могли не выдавать зарплату и четыре месяца. Говорили, что бухгалтерия НИИ «прокручивала» деньги, закупая копченую колбасу... Дочь сама видела палки этой колбасы, наваленные штабелями на столах в бухгалтерии аккуратно за неделю до выдачи зарплаты. И так несколько раз. Непонятно только, кто эту колбасу покупал? Во всяком случае, не сотрудники ее института.

Соседка ей как-то сказала: «Вы хорошо живете, если еще курицу покупаете...» Большим

подспорьем был теперь огород, в котором она стала растить все вплоть до картошки. Она, имеющая деревенские корни, уже подумывала, не завести ли им кур? Но проблема была в том, что на работе отпуск давали летом лишь ей, а мужу, который дорос до начальника цеха бывшего крупного оборонного завода, ваявшего теперь сковородки и чайники, нет. К тому же муж по-прежнему возглавлял лабораторию, находившуюся в научном подразделении их комплекса, изрядно поредевшего, так как госзаказы и хоздоговора кончились, а собственных денег на содержание интеллектуального балласта руководство завода не находило. А как же цыплят вырастить за месяц? Дети же смотреть за курами напрочь отказывались. Но у нее были хорошие дети... Не как у некоторых: пьют, колются, не хотят ни учиться, ни работать...

«Василиса, дочка! Слышишь ли ты меня? Теперь вся семья снова почти в сборе... Только меня не хватает под новым солнцем. Но ничего, бог даст скоро встретимся... Я сменила тебе памятник. Теперь это не тот облезлый ржавеющий крест, напоминающий кусок сгнившей от возраста водопроводной трубы, что приходилось нам с Гришей красить серебрянкой».

Крест был заказан красивый, витиеватый, но он как-то за год успевал весь облупиться и превратиться в кусок железа. Красить его было тяжело. И хотя Гриша покупал каждый год новую кисточку – и кисть никогда не была в ссохшейся краске, но прокрасить все поверхности все равно не получалось: щетина никак не хотела влезать в изящные завитки креста – и они оставались не покрашенными, отчего на следующий год упорно ржавели от дождя и снега, заставляя серебрянку отколупываться все дальше большими рваными лохмотьями, похожими на истлевшее тряпье.

«Да, мама, спасибо! Ты простила меня?»

Бог дал, Бог взял... На все воля Божья... Не так ли учила ее бабка? Сейчас бы у нее был внук, и, может быть, вся семья была бы в сборе за круглым столом на большой кухне, величине которой завидовали все ее подруги... Ей вообще много завидовали... Ни лица, ни фигуры, «деревня», а такого мужа оторвала... Знали бы, как это ей все давалось...

Муж был сыном родителей, сумевших завоевать свое место под солнцем в городе. Свекровь заведовала кафедрой аналитической химии в университете, а свекор был начальником отдела в обкоме партии. Свекор был, как сейчас бы сказали, «демократ», сам родом из деревни, сын истопника в сельской школе, и всего достиг сам, было с кого брать пример... Это после она узнала из его рассказов, как они сдавали экзамены: кто-нибудь один отвечал, а всей группе ставили оценку. Они учились вместе со свекровью, но он как-то сразу еще в студенческие годы был принят в партию как сын восходящего класса и быстро пошел по возрастающей... Еще до войны... Передовая не очень-то коснулась его, он работал начальником цеха на крупном танковом заводе, но приходилось выезжать и на фронт для испытаний выпущенных бронемашин... У него даже орден был. А после войны он стал поднимать сначала станкостроительную промышленность, а затем был переведен в обком. Они с женой после войны быстро перебрались из маленькой комнатки в общежитии сначала в двухкомнатную квартиру, а в конце пятидесятых в четырехкомнатную квартиру, в которой Лидия Андреевна живет и по сей день.

Свекор был могучий мужик и в те же годы сумел выстроить роскошную по тем временам дачу. Правда, ставил он ее сам. Купил по дешевке в деревне сруб, сплавил его, как бурлак, по Волге, нанял тройку рабочих из местной деревни, и сам с ними дневал и ночевал весь свой отпуск и выходные. Как деревенскому мужику ему знакома была эта работа: таскал на своем горбу бревна, песок, тюки с паклей... Сначала поставил деревянную избушку с пристроенной к ней верандой, затем выстроил и второй этаж типа мансарды, потом добавил и третий, наподобие часовенки в старинном замке. Соорудил настоящую парную, туалет со сливом, маленькую рыбокоптильню в сарайчике, теннисную площадку и даже бассейн, где с визгом барахтались потом внуки. С началом дачного строительства был приобретен маленький неказистый небесный «Москвич», смененный через несколько лет на «Победу» цвета какао, что, в свою очередь, была заменена черной, как вороное крыло, 21-й «Волгой» с серебристым красавцем оленем на капоте, которую впоследствии уже поменяли на 24-ю.

Была куплена деревянная лодчонка, с которой он запойно удил мормышкой рыбу. Затем он смастерил, опять же своими руками, в выходные и отпуска, по чертежам из журнала, огромный катер с мотором от старенького «Москвича»: на нем избороздили уже всю Волгу, вылавливая полчища чехони, которую коптили и сушили на растянутых под специальным навесом веревках. Иногда попадались и крупные щуки, окуни, лещи и даже, как она слышала, стерлядь. На даче у ее новых родственников всегда было полно гостей, которых они обязательно возили на рыбалку и купаться на Волгу, для чего был приобретен впоследствии еще дюралевый катер. Варили уху, делали шашлыки, жарили грибы...

Как знать... Не дача эта... Может быть, и ее бы жизнь сложилась иначе.

В то далекое лето подруга Лидии Андреевны, тогда просто Лидки, позвала ее на дачу к однокурснику своего любимого. Отправились шумной студенческой компанией, втиснувшись в субботнюю электричку с рюкзаками и сумками, пухлыми от жратвы и дешевой выпивки, с гитарами и спиннингами наперевес.

Однокурсник оказался из тех домашних интеллигентных мальчиков, к которым деревенская Лидка относилась с усмешкой: щупленький заморыш в роговых очках с синюшной кожей, как у курицы, долго хранящейся в морозилке. Казалось, что ему не очень-то было уютно в их шумной пьяной компании, он все время вбирал голову в опущенные плечи и жался к стене, будто хотел слиться, как тень, с нетесаными досками на веранде, стать таким же серым и незаметным... Он совсем не чувствовал себя здесь хозяином – и ребята спокойно разгуливали в ботинках с налипшей на них глиной по всем пустым комнатам, рылись в глубоких ящиках столов, доисторических шкафах и буфетах, кладовках и сарайчике с многочисленными удочками и мормышками... Но он ловко затопил печь, сложенную совсем не так, как она привыкла видеть у себя в селе, а как-то чудно, наподобие камина, который она видела в кино: можно было смотреть, как пламя весело облизывает и пожирает натасканные из-под веранды отсыревшие поленья, сперва густо чадающие удушливым дымом. Свет не включали: приближались самые длинные летние дни... Сидели в полумраке и смотрели на эти огненные языки, заходящиеся в странном языческом танце, отбрасывающем на стену диковинные тени, напоминающие пляску жизни и смерти... Она тогда даже подумала: «А почему пляску смерти, когда жизнь только начинается?» Ведь все у нее впереди, все лучшее – впереди! А позади осталась старенькая, покосившаяся, поросшая сизым мохом изба с холодным туалетом во дворе; коричневое школьное платье, с аккуратными заплатками на локтях, с белыми воротничком и манжетами, на которые она надевала черные сатиновые нарукавники, чтобы сохранить эту белизну манжет до конца недели, как велела им их классная руководительница; устойчивый запах перегара по ночам; мат, от которого она натягивала на голову подушку, чтобы суметь до петушиных криков чуток поспать; тугое козье вымя, из которого сбегает в ведро звонкой струйкой весеннего ручья молоко.

Жила она тогда в общежитии, обитали в комнате они втроем еще с двумя сокурсницами. Все девушки были из области, из малоимущих семей. Дети из семей побогаче жили в основном на съемных квартирах, общежития тем просто не давали. Девочки постоянно говорили о том, что надо искать женихов: это единственный способ зацепиться за город после получения диплома. Можно, конечно, найти работу и снять комнату на двоих, но дальше-то что? И они настойчиво познакомились, по-деловому обсуждали между собой потенциального жениха, бегали за ним, но как-то так получалось, что потенциальный претендент на их руку и сердце почему-то не только не боролся за их руку (бог с ним, с сердцем, стерпится – слюбится...), но и смотрел на них, словно сквозь стекло... И вскоре вообще исчезал, рассасывался, будто дымок от сигареты, что выкурили где-то на задворках пионерлагеря. Но они тут же цепляли следующего, старательно развешивая паутину распахнутых глаз, нежащихся в тени своих ресниц и лениво стреляющих в проходящего мимо аккуратно сложенными галками взглядов; рассыпая осколки заливистого смеха, напоминающего звонок притормаживающего трамвая; маня, словно готовые сорваться с

места косули, своими длинными ногами... Но паутину быстро обрывал шатающийся по переулкам города ветер – и девочки тихо всхлипывали в подушку от невозможности реализовать намечтанное. А Лида сидела, будто красна девица у окошка, и ждала принца. Ваньку она не хотела, нагляделась она на этих Ванек, стремительно превращающихся в забулдыг с красной рожей, сливовым носом и заплывшими в щелочку, будто у поросы, буркалами, собственную зарплату от которых приходилось прятать в жестяной банке с крупой... Поэтому, когда она познакомилась с Андреем, что-то щелкнуло в ее мозгу и замкнуло: «Больше такого шанса в твоей жизни не будет. Не упusti. Профессорский сын. Квартира. Дача. Связи».

Нет. Сначала она его даже и не восприняла как потенциального избранника. Он был не в ее вкусе. Некое такое мамочкино растение, не отрывающее своего носа от книжек. Он всегда знал, как ответить на любой вопрос преподавателя, и любые задачки щелкал как орешки, ударив молоточком. Девочки, казалось, его не интересовали совершенно. Но одна из подружек начала постоянно жужжать об Андрее. Она, пожалуй, тоже не была в него влюблена, но очень хотела остаться в городе и постоянно говорила про то, что это шанс. Капли ее слов падали Лидочке на башку, не давая сосредоточиться на электромагнитных волнах, которые у нее никак не усиливались до нужной амплитуды, а, наоборот, беззаботно исчезали, будто волны в волосах от накрученных на них бигудей под осенним, сеющим сквозь сито дождем. Капли эти продолжали падать и когда Лидочка собиралась провалиться в темный и глубокий колодец сна, оставляя на поверхности расходящиеся круги, что тут-то и начинали причудливым образом интерферировать... Она не заметила того чудесного процесса зарождения чувства. Просто в один весенний день она с удивлением поняла, что боится, вдруг Андрей обратит внимание на ее подругу. И уже буквально тихо ее ненавидела, до соленого вкуса во рту прикусывая губы, чтобы не сказать той что-нибудь гадостное, выдававшее Лиду с головой, которую, задержав дыхание, она старалась не высовывать, плавая в мире своих причудливых фантазий, где поселился ОН. И это было не то, чтобы «городской, с пропиской». Нет, она уже скучала по нему и отыскивала глазами в толпе сокурсников. Отмечала боковым зрением и держала на мушке, фиксируя его передвижение, залегши под соседним бугром. Удивительное чувство любовь! Как и почему мы все-таки отыскиваем из множества людей одного, при виде которого сердце начинает давать перебои, а улыбка идиота, будто после вколотой ему дозы транквилизаторов, начинает блуждать на губах?

Почему, когда Андрюша впервые решил пойти ее проводить после случайной вечеринки, у нее от счастья сердце подпрыгнуло, словно теннисный мячик? Почему ей так хотелось нахамить другу Андрея, увязавшемуся за ними третьим лишним и не понимающему, в чем он собственно провинился, когда она огрызалась на него, как собачонка, у которой из-под носа стянули лакомую косточку?

Она потом долго злилась и не решалась подойти сама. Уж такая она была. А Андрей тоже проходил мимо. Встречались глазами в студенческой толпе, всматривались до напряжения и рези в глазах, но друг к другу почему-то не подходили, боялись, что не оправдают ожидание друг друга, растягивали процесс предчувствия счастья. У нее и глаза стали фасеточными, как у стрекозы. Находила его безошибочно где-нибудь с краю в толпе открывшимся боковым зрением, посылая импульс – и знала, что он тоже видит ее сутулую спину, застывшую в напряжении сгорбленным знаком вопроса и боящуюся собственной тени.

Когда и как она, не ведавшая физической любви, вдруг так сильно захотела оказаться в его объятиях, почувствовать тяжесть его тела и вкус его губ?

Может быть, тогда, когда сидели на дне рождения в общаге, а стульев не хватало – и поставили деревянную скамейку, что притащили из вестибюля и на которую все они втиснулись только тесно прижавшись друг к другу бедрами? Делали вид, что не понимают, что соприкасаются так близко, как в ее жизни с мальчиками никогда еще не было, чувствуя разгоряченное бедро соседа, от которого закипала кровь? Или тогда, когда протискивалась сквозь строй вытянутых коленок, опоздав после перерыва на продолжение пары, на ходу дожевывая буфетный пирожок, и почувствовала мужские руки у себя на талии, большие и легкие, будто уверенный взмах весла, рассекающий тишь и гладь и выманивающий чертей из темного омута? Ах, эти руки! Лидочка тогда не знала, что с ней такое... Ворочалась всю ночь вообще без сна, простынь сбила комом, оставившим на бедре розовые полосы, похожие на расчесы от укусов насекомых, перекатилась на обнажившийся полосатый матрас в желтых разводах и бурых пятнах. Мучилась от необъяснимого томления и удивления своим фантазиям, в которых она елозила ногой не по грязному матрасу, а по шелковому горячему телу, покрытому щекотавшим ее пушком волос.

Стояли первые теплые дни, когда прохожие стягивали с себя капустные одежки, уже вышедши на улицу. Тащили куртку или плащ, перекинув через плечо... Улыбались майским лучам, подставляя лицо свету, поворачивались к нему, как раскрывающийся цветок к окну. Одевали черные очки, чтобы не ослепнуть. Старательно обходили последние лужи на асфальте, оставшиеся от таяния снегов. Газоны напоминали зеленый коврик у входной двери, по ним хотелось пройти, чувствуя, как отсыревшая за снеготаяние земля пружинит, будто поролон. И вообще казалось, что ты не по тротуару идешь, а паришь, наполненный счастьем от полноты жизни, точно шарик, надутый гелием.

Спустились с откоса к реке, осторожно взявшись за руки. Лидочка чувствовала себя маленькой девочкой, ведомой за руку через густой лес, где деревья сплелись ветвями без листьев. Пробираться физически было тяжело, но свет лился, будто его черпали ковшом и выплескивали на ветки с набухшими почками, кое-где высунувшими зеленые языки. Рука ее была надежно зажата в большую загрубевшую ладонь.

Нашли скамейку под вековым дубом. Андрей потянул ее за руку, как тряпичную куклу, и посадил к себе на колени. Неловко плюхнулась, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце и кровь бухает в висок, точно волны разбиваются о скалы. Притихла, съежилась, прижалась к щуплой мальчишеской груди, чувствуя холодные руки, осторожно ползущие ужом по впадинам и буграм ее тела... Холодный нос потерся о ее нос; мокрые губы неловко ткнулись ей в щеку, гусеницей медленно поползли и замерли на минуту, чтобы чудесно превратиться в бабочку с нервно трепещущими крыльями, порхающую по ее раскрывшимся навстречу губам.

Потом шли по полупустынному городу... Перебежав дорогу в неподобающем месте, наткнулись на ограду, которую им надо было обходить почти целую остановку.

– Перемахнем? – предложил Андрей.

И вот уже ее подхватили под коленки – и она обвивает напрягшуюся от тяжести ее тела мужскую шею, чувствуя, что снова сердце в груди стучит, как ускоряющийся поезд. Мгновение – и она на земле по ту сторону барьера. Мгновение полета над землей, с душой, наполненной чем-то искрящимся, с надеждой на чудо, словно весело бегущие пузырьки в новогоднем бокале шампанского, миг парения, который она почему-то будет помнить всю оставшуюся жизнь.

Собираясь на следующее свое свидание, с изумлением думала о том, что ей опять хочется оказаться на какой-нибудь укромной скамеечке, примостившись зажмурившейся кошкой у Андрея на коленях, мурлыкающей от того, что ее почесывают за ушком. Но Андрей почему-то и не думал искать скамеечку. Наматывали круги километр за километром по пыльному городу, держась друг от дружки на расстоянии полметра. Случайные знакомые или сокурсники. Говорили ни о чем. Лидочка терзалась мыслями, что сновали в ее мозгу кусающимися муравьями, проделывающими причудливые ходы. Но так ничего и не могла понять. Наконец, не выдержала, сказала, что устала:

– Может быть, двинем в общежитие или присядем?

– Устала? А я хотел еще погулять. У меня что-то голова болит...

И снова они принялись наматывать километр за километром. Лидочка чувствовала, что на ступне у нее образовались натоптыши, а мизинец и косточка сзади стерты до крови так, что она уже еле ковыляет. Но шла и шла, точно Русалочка из сказки Андерсена, с израненными ногами...

И в следующую их прогулку все повторилось, и опять... И даже когда они наткнулись на лавочку и Лидочка буквально упала на нее, не спрашивая Андрюшу, упала просто потому, что опять стерла ноги уже другими туфлями – только теперь на боковых косточкам и там, где туфля спереди врезалась в кожу, они просто сидели на расстоянии полметра друг от друга и разговаривали ни о чем. Лидочка хотела к Андрею придвинуться, но подумала, что это неудобно. Но они все сидели и сидели... Лида чувствовала, что ее уже начинает пробирать дрожь и холодный ветерок облизывает ее своим прозрачным языком. Она хотела было уже встать, но тут резко поднялся Андрей, нагнулся к ней – и в одно мгновение она снова оказалась сидящей в напряжении у него на коленях. И снова рука слепым и теплым зверьком ползала по ее телу, постепенно выводя ее из состояния окоченения.

Так бывает: и не собиралась вроде замуж пока, а вдруг раз – и заклинило. Андрей сам был такой положительный, и семья его понравилась, хоть и ощутила она холодок, исходящий от свекрови. Легкий такой холодок, от которого мурашки по коже ползут и хочется втянуть голову в плечи, чтобы согреться.

Ее рассматривали так, что ей казалось, что она проходит медосмотр, бегая от врача к врачу... И она ощущала то холод фонендоскопа у себя на груди, то металл лопаточки на языке, а то и вовсе клеенку гинекологического кресла. Смотрели снизу вверх, прощупывая сантиметр за сантиметром, выворачивали наизнанку, пытаясь разглядеть содержимое... Она так и читала по глазам свекрови поставленный ей диагноз. Да, жаль, что не из интеллигентной семьи, без рода и племени, но в конце концов такие карабкаются к солнцу изо всех сил, заглушая нежные садовые цветы... Не хватает интеллигентности, но зато она будет тащить на себе быт и не станет требовать от сына помощи, потому что так было принято в ее семье... Не известно еще, какую другую шалаву сын может привести в их дом. А эта и учится с удовольствием, и серьезная, за сына будет держаться, так как бежать ей некуда, не в деревню же ехать, да и Андрюша влюблен в нее, похоже. Может, конечно, просто друзья его женятся потихоньку, вот и он отстать от них не хочет...

Когда Андрей предложил ей за него замуж – а сделал он это очень буднично: они просто прогуливались по набережной – была весна, душно пахло черемухой и резко похолодало, но солнце смотрело в глаза – и было понятно, что лето уже не за горами. Ветки яблонь и вишен были густо обсыпаны цветом, уже опадающим на тротуар и издали казавшимся морской пеной, вышвырнутой отхлынувшим морем...

Лида не обрадовалась, не бросилась ему на шею, а буднично подумала: «Ну вот. Цель достигнута». И сказала: «Да». Хотя ей казалось немного нереальным то, что она через полтора месяца станет мужней женой. И не радость заставляла сердце биться быстрее, а тревога и страх перед неведомой жизнью в чужом и большом доме, где она, будто по сосновым иголкам ходила босиком, осторожно, но все время укалывалась и ежилась. Ей повезло. «Отхватила профессорского сынка, и по квартирам скитаться полжизни не надо будет», – завидовали подруги. А она чувствовала себя лошадкой, пасшейся на цветущем лугу, залитом солнечным светом, жующей сладкие цветки клевера и пачкающей нос в желтой пыли ромашек, которую теперь загоняют в стойло. Оденут уздечку, затянут подпругу, привяжут бубенчики – и только тогда выпустят на простор... Не порезвиться – везти несмазанную телегу, что зовется семейной жизнью, чувствуя уздечку, больно рвущую уголки губ... Откуда-то у нее было это знание умудренной и умотанной жизнью клячи? «Укатали сивку горки»... Это то, что рано или поздно говорит большинство... А пока сердце сжималось от страха и невозможности отменить то, к чему она шла целых два года знакомства с Андреем.

Выбирала фасон для платья, что впервые шила в ателье, как посоветовали подруги... Юбка годэ, расширяющаяся волнами книзу, точно чашечка раскрывшегося колокольчика, покачиваемого ветром; пышные рукава фонарики по локоть, а дальше высокие манжеты, обхватывающие руки, будто перчатки; огромный атласный бант, из-под которого стекают водопадом струи гофрированного шелка... Покупали по талонам, полученным в загсе, белые лодочки для нее и черные лаковые туфли для Андрея, меряли кольца в ювелирном... Андрей

обычные кольца не захотел, выбрали с причудливой гравировкой, в тайной надежде на то, что совместная жизнь будет как чудо...

Свадьбы, можно сказать, не было. Свекровь считала, что играть свадьбу – это мещанство. И уж тем более непозволительно праздновать ее так, как гуляли у нее на селе: почти всей хмельной деревней, с выкупом, с песнями, прибаутками и матерными частушками; с опухшими свиными рожами, прилегшими отдохнуть в тарелку с салатом и с непременно разбитой на следующий день рюмкой. Посидели с родителями и свидетелями немного за круглым столом – и все. Ее мать, сельская учительница, не возражала.

Входила она в семью мужа тяжело, ей все время казалось, что она Золушка на балу, которая не нашла во что переодеться и напялила платье с чужого плеча, хотя и красивое, но болтающееся на ней как на вешалке, отчего она напоминала огородное пугало, взмахивающее руками от порывов ветра. Самое главное было не открывать рта. Она инстинктивно чувствовала: что бы она ни сказала, окажется не так. Она старалась не спорить и не высказывать своего мнения, понимая, что ее соображений никто в расчет не возьмет, а вот спровоцировать вспышку негодования можно очень даже запросто. Запирала в себе все мысли, словно дикого зверя в клетку, думая о том, что когда-нибудь все же выпустит их на волю, забыв закрыть замок. Андрей слушался все равно не ее, а мать. Моментами она чувствовала себя непритершейся деталью в бесперебойно работающем механизме этой чужой для нее семьи, колесиком, имеющим зубчики по размеру чуть больше, чем нужно бы для бесшумной и безотказной работы этого устройства. Но время шло, зубчики стачивались – и она с удивлением для себя обнаруживала, что находит у себя в голосе интонации свекрови, а трапеза со сковородки в целях экономии чистой посуды становится невозможной.

У свекрови Лидия Андреевна сумела многому научиться. Андрей был покладистым человеком. Таким сделала его мать. Лидии Андреевне очень даже повезло, что ей достался такой муж. Она могла совершенно спокойно ему сказать:

– Помой всем обувь, – и Андрей послушно шел в ванную, по очереди брал каждую пару больших и маленьких чупак, мыл, сушил, чистил, намазывал кремом, полировал куском фетровой шапки...

Управлять своими детьми Лидии Андреевне было часто сложнее. Дети частенько просто огрызались на ее требовательные просьбы. Муж никогда не повышал голоса. Дети же нередко отвечали противным канючащим голосом: «Мне некогда...» Иногда отрезали: «Отстань, я учу уроки. Я потом помою!»

...Андрей уже давно не представлял свою жизнь без Лиды. Как бы он так жил сам по себе, когда умерла его мать? Он привык к тому, что Лида, заменив маму, полностью взяла в свои руки бразды правления в доме. По сути, все вопросы в семье давно решались ею единолично. Лидия как бы заменила руководившую в доме свекровь. Она говорила мужу, что пора делать ремонт; она планировала их отпуск и досуг; решала, что пора покупать новую мебель и технику, менять одежду и обувь. Андрей давно не мог принять никакого решения, не спросив у Лидочки совета и не получив ее одобрения. Нельзя сказать, что он не помогал Лиде по дому. Помогал, да еще как. Он не только выбивал по субботам пропитавшиеся пылью ковры, но мог приготовить поесть, постирать, убратся. Но он ничего не делал сам, по своей инициативе. Ему говорили: «Андрюша, надо вымыть окна. Вымой окно в кухне и в гостиной, остальное – пусть дети». И Андрей старательно и аккуратно, отмывал наросший налет на стекле, с вкраплениями пятен от мух и известки птичьего помета. Если ему говорили: «Запусти в стиральную машину скатерть, он тут же медленно ее снимал, замачивал, потом кидал в барабан машины, полоскал, согнувшись над тазом, поставленным внутри ванны, а не на решетку, чтобы вода не плескалась и не брызгала на пол, отжимал в центрифуге, натягивал через весь коридор веревочку, разматывая ее рыхлый клубок, и, наконец, вешал...

Если жена просила его что-то приготовить, скажем, салат, он надевал другие очки,

садился на стул и медленно, осторожно кромсал все то, что ему выложили на стол.

Когда умерла свекровь, все хлопоты по похоронам Лидии пришлось взять на себя. Андрюша не знал даже, что по весне надо ехать на кладбище с лопатой, чтобы поправить просевшую, захлебнувшуюся тающим снегом могилу. Растерянный Андрей просто не в состоянии был что-то делать вообще. Это Лида бегала по всяким там БТИ и ГУЮНО, Андрей просто растерянно смотрел на кипу всех наследственных бумаг и говорил, что совершенно не в состоянии в них разобраться, да и все равно ничего не запомнит. Это Лида разбирала вещи его родителей, нанимала рабочих сделать ремонт в комнате его предков, чтобы освободить помещение для подросткового сына.

Андрюша никогда не покупал себе одежду. Сначала это делала его мать, потом жена. Он вполне полагался на их вкус, да впрочем, ему было, пожалуй, все равно, в чем ходить. И если мать все-таки старалась, чтобы сын был одет не хуже других, то Лидия Андреевна совсем не спешила подобрать ему галстук в тон его новой рубашки.

Он был неплохим мужем. Близких друзей у него не было, шумных компаний он никогда не водил, не курил и совсем не пил. Да, его излюбленным занятием было лежать на диване и смотреть телевизор, но ведь зарплату-то он приносил регулярно – и весьма приличную по меркам того времени, а на работе у него тоже было не все гладко и спокойно. Как ни странно, он, недеревенский мужик, любил копошиться в саду. Кряхтя, с удовольствием копал грядки, засаживая их горохом, морковью, укропом, репой. Так, баловство: на семью этого не хватит, но зато можно было в выходные полакомиться прямо с грядки свежими овощами. Он часами ковырялся в земле, разводя всякие многолетние цветы и ягодные кустарники, по весне сам покупал горстями семена и саженцы, разделявал незатейливые клумбы, возводимые в хороводе крапивы, вырезал свернувшийся побег отплодоносившей малины, подвязывая каждый молодой кустик веревочкой к колышку для того, чтобы его не согнул ветер.

Муж даже люстру в доме повесить или починить не мог. Лидия Андреевна сама залезала на обеденный стол, выставив его прямо под люстрой, выискивала оборвавшийся в люстре провод, прикручивала к другому оголенному концу и припаивала с помощью олова или канифоли стареньким паяльником свекра, дуя на обожженное запястье, на которое сорвалась раскаленная капля.

Заболев, Андрей уходил в гостиную и там лежал, протягивая на больничном максимально возможный срок. Лидочка же и не помнит, когда она брала больничный лист. Кажется, последний ее больничный был декретный. С детьми сидела свекровь или мама, сама же она на ногах переносила болезнь за болезнью, стойчески задавливая даже сильное недомогание таблетками, заглотанными на ходу.

Это Лидочка поменяла старую машину свекра на новую антрацитовую двадцать четвертую «Волгу». Это она определила Гришу в детскую изостудию, а Василису заставляла ходить на музыку и терзать их старенькое пианино занудными гаммами. Это с ее подачи Василиса стала учиться на экономиста, а Гриша – на биолога. Это она искала детям репетиторов и доставала мужа, чтобы он поднял все родительские связи, когда детям пришла пора поступать в вуз.

Впрочем, Андрей охотно помогал ей с детьми, он с ними постоянно гулял, когда они были маленькими, собирая компанию из их друзей; частенько, не жалея своего времени, решал своим чадам задачки по физике и математике, когда они подросли.

В то же время его голос не очень-то много значил в их семье. Нет, с ним, конечно,

советовались... Ему пересказывали все новости, принесенные сорокой на хвосте от знакомых и друзей, но он давно не мог, скажем, даже посмотреть тот детектив, который ему хотелось, так как Лида приклеивалась в это время к какой-то мыльной опере, совсем ему не интересной. Она стремительно входила в гостиную, притащив хвостом сквозняк, хлопающий дверью, включала то, что ей нужно, и все... Если Андрей смотрел что-то другое, она просто вопросительно всматривалась в его лицо, говорила: «Я переключу, я хочу поглядеть другой фильм. Давай посмотрим». И не дожидаясь его ответа, резко выстреливала переключателем.

Он не то чтобы умел тихо гасить все ее эмоциональные всплески... Он просто незаметно уходил от любых конфликтов, давно поняв, еще тогда, когда жил с матерью, что с женщинами лучше не спорить. Женщина просто несет все то, что пришло ей на ум, наматывая на любой пустяк слой за слоем, будто пускает скатываться с гигантской горки слепленный из мокрого снега снежок. И снежок вырастал до размера головы снежной бабы... Оставалось только вставить нос морковкой. Но вдруг припекало солнце – и остановившийся у подножия горы ком начинал медленно таять, пуская тоненький ручеек слез.

Временами Андрею хотелось бежать из дома, но он понимал, что он никогда не уйдет: он не волк и просто не выживет в одиночку... Он привык жить, как за каменной стеной. И матушка, и Лидочка как раз и были такими каменными стенами. Вне стен было поле, по которому гулял буйный расхристанный ветер. На ветру было хорошо освежаться и парить, пока нещадно печет солнце, но как только начинались холода, неудержимо хотелось в дом. Андрей знал это. Поэтому он и терпел многое, понимая, что без Лиды он никуда. Он даже, когда своим коллективом руководил, смотрел на все Лидочкиными глазами. Приходил домой – и советовался с женой. Что Лида скажет, то и делал. Как тень при жене, но тень странная, что считалась не тенью вовсе, а главным, тем, чем Лидочка на людях гордилась и хвасталась, как своим трофеем. Она и показывала его как трофей, а сама частенько кричала до потери голоса и истерично плакала, паря в полной невесомости без какой-то опоры под ватными ногами. Хоть бы за какую ветку на дереве ухватиться, но нет... Расправляй крылья, включай свой внутренний реактивный двигатель...

В первые месяцы своего брака Лида чувствовала себя, как в ловушке. Да, она добила много из того, чего хотела. Но это совсем даже и не радовало ее. Лида жила теперь в большой городской квартире, была замужем за человеком интеллигентным, из хорошей семьи. Перспектива вернуться в свое Большое Козино наводила на нее беспросветную тоску. В первые месяцы она почти не выходила из их с мужем комнаты, стараясь быть незаметной маленькой серой мышкой. Она казалась себе неуклюжим гадким утенком по сравнению с городскими куропатками. И она многое умела уже. Жизнь с семнадцати лет в общаге приучила ее самостоятельно справляться со всеми бытовыми хлопотами, но ее ужасно злили постоянные замечания свекрови. Свекровь ходила за единственным сыном по пятам, не оставляя им возможности на личную жизнь. У нее до сих пор стоит в ушах поучающий голос свекрови: «Яйца надо мыть». Это же смех! Мыть яйца! Зачем их, интересно, мыть? Она до сих пор этого не понимает.

Лида все время чувствовала себя будто в кабинете врача: незащищенно голой и просвечиваемой жестким рентгеном, ловащей всей кожей критический взгляд, окидывающий ее короткую юбку с разрезом и занавески в горошек, что она повесила в своей спальне. «Сними! – изрекала свекровь. – Они не вписываются в интерьер». В Лидочкиной семье любили всякие соленья и жареное. Здесь же на все это было наложено строжайшее табу. У свекра была язва, у Андрюши постоянное обострение гастрита, у свекрови вырезан желчный пузырь. Лида с ума сходила, как ей хотелось купить селедину, чтобы уплести ее с молодой картошечкой! Маринованные грибочки, привезенные от матери из деревни, свекровь тут же спланировала мужу на день рождения на работу. Котлеты в доме ели только паровые. У Лидочки эти котлеты стояли в горле.

Она поджарила однажды мясо, привезенное из дома так, как любила делать мать, с золотистым лучком, с душистыми специями. Свинина получилась с хрустящей на зубах корочкой и даже немного с кровью. Свекровь молча взяла нож, срезала золотистую корочку на мясе, полила после его водой из чайника, а свекру запретила есть вообще. Лидочка тогда впервые развернулась, показав рентгеновскому аппарату свои ссутуленные плечи и склоненную голову, которую хотелось спрятать от любопытных глаз у себя на груди, и ушла из дома.

Она бродила по ночному городу, полному слезящихся пятен огней, вглядываясь в люминесцирующие надписи на витринах. Пронизывающий до костей ветер, прокраившийся под тоненькую курточку, сбегал холодком по спине и заползал в сердце, выдувая из него любовь. Ветер тщетно пытался высушить набегавшие слезы, но они мгновенно, будто ключевая вода из подземной скважины, проступали снова. Она зашла в кафе «Лабиринт», затемненное настолько, что даже не было видно лиц посетителей, сидящих за соседним столиком. Кафе находилось в полуподвале, с внешним миром его связывали только бойницы маленьких окон под потолком. Подсветка этой темницы шла откуда-то из верхнего угла потолка и была сделана в виде камелька. Дрожащий язык пламени напоминал ей почему-то змеиное жало. Лида подумала о том, что в ее семейном очаге хранится тоже вот такой же тускло тлеющий никогда не затухающий огонек, светящий еле-еле, так, что любимых лиц не различить. А выход он вон, там, вверх по мраморной лестнице, ведущей в ночной город. Только там тоже ветер, раскачивающий тусклые лампочки уличного освещения, безжалостно

срывающий афиши и влюбленных с холодных и еще не насиженных ими лавочек.

Она заказала кофе с эклером. Через десять минут к ней подсел высокий тучный мужчина, возраста которого в полумраке было не разобрать, но по голосу ей показалось, что он скорее сгодится ей в отцы.

– Скучаем? – спросил бархатный голос, возникший где-то в глубине черной пещеры.

Еще через десять минут обладатель голоса принес бутылку вина цвета граната, пропитавшегося запахом бурных южных ночей и укачивающего плеском прибоя, и фужеры с янтарными ломтиками лимона и кубиками льда, напоминающими о детстве, когда она так любила сосать отломленные от выступов сосульки, ощущая во рту вкус талого снега и предчувствия любви. Она пила терпкое вино, напоминающее о садах упущенных возможностей, и думала о том, что еще все-все в своей жизни успеет перевернуть... Сжимая до побеления костяшек пальцев ножку фужера, она сидела ни жива ни мертва, вдыхая запах изысканного мужского аромата и чувствуя на своей шелковой коленке тяжелую огненную ладонь. Как ни странно, ей было очень приятно. Слезы, которых и не было видно в этом полумраке, высохли, внизу живота встрепенулся нахохлившийся воробей, и стало завораживающе страшно... Вскоре мужчина положил ей руку на талию. Прижимаясь к пьянящему иностранным ароматом колючему пуловеру, она чувствовала себя подростком, идущим по узкой жердочке через холодную осеннюю речку: не утонешь, если вдруг сорвешься, оступившись на трухлявой и замшелой досочке, но вымокнешь до нитки в холодной уже, остывающей от ночи к ночи все сильнее, сентябрьской прозрачной воде отплавшего и отзвеневшего лета.

Руки мужчины сжимали ее все сильнее, нежное поглаживание превратилось в щипки какой-то хищной птицы, не умеющей клевать по зернышку, рука с талии переместилась на грудь, пытаясь отжать ее, как промокшее и набухшее под дождем полотенце, что не ко времени оказалось повешенным сушиться на веревочку. Жарко дыша ей в ухо все учащающимся дыханием, мужчина прошептал, щекоча ее щетиной усов: «Пойдем ко мне...» Потом дернулся, будто подстреленный, ослабляя железную хватку могучих заклинивающих ладоней. Ее правая грудь утонула в его пятерне, словно маленький зяблик, которому почему-то решили свернуть шею.

Домой она вернулась под утро, попыталась тихо открыть замком дверь, ключ в замок не влезал. «Вставили ключ изнутри – и закрыли на собачку», – догадалась Лидочка.

Она в нерешительности постояла в полутемном заплеванном подъезде, вдыхая шибавший в нос острый запах кошачьей мочи и сигаретного дыма, въевшийся в облупленные стены, и думая: будить или не будить Андрея птичьей трелью звонка... Решилась все-таки позвонить, звякнула робко и нерешительно, напряженно прислушиваясь к сопящей в квартире тишине... Тишина продолжала закладывать уши, как в самолете при его резком снижении. Она позвонила еще раз. За дверью по-прежнему стояло безмолвие. Лида посмотрела на часы. Десять минут четвертого... Еще, по меньшей мере, четыре часа, как домашние отправятся на службу, да ей и самой тоже надо будет бежать на работу.

Она села на ступеньки, прислонившись головой к холодной бетонной стене, исписанной корявой надписью про то, что Машка любит Петю. Через десять минут лязгнув зубами замок двери напротив. Железная дверь распахнулась – и из нее вышел мужчина лет сорока кавказской национальности и тотчас побежал вприпрыжку по лестнице. Через двадцать минут оттуда же возник пожилой мужчина с животом восьмого месяца беременности, он медленно окинул внимательным и оценивающим взглядом Люду, но не проронил ни слова и

стал медленно спускаться, грузно опираясь на перила. Еще через пятнадцать минут из чуть приоткрывшейся двери выскользнул патлатый мужик в спортивном костюме.

– А, привет, – сказал мужик. – Ты что на лестнице работаешь? Сколько?

Лидочка струхнула, вскочила со ступеньки, скороговоркой протарабанила:

– Нет, я не работаю. Я тут живу. Вот воздухом вышла подышать...

– А... – понимающе сказал мужик и плюхнулся на ступеньку рядом с ней, по-хозяйски закинув мускулистую пятерню с траурной каймой под ногтями к ней на плечо. Лида резко дернулась, стряхнув руку, будто прыгнувшую лягушку.

– Я же сказала, что я здесь живу. Я сейчас мужа позову...

– Ну-ну, – сказал мужик. – Зови, – и раскатисто, будто эхо по горам прокатилось, засмеялся.

Лида уже перепугалась не на шутку. «Что делать? Звонить и барабанить в свою квартиру, а вдруг и не откроют? А откроют, будет повод от нее избавиться. И будет уже не она пребывать в оскорбленных чувствах, а ее новые родственники...» – думала Лидочка лихорадочно. Мужичок поднялся со ступеньки и, оскалив стальные коронки, сверкнувшие, будто зубья пилы, стал медленно придвигать ее к стене. Липкая ладонь скользнула по ягодицам. Лидочка, бабочкой распластавшись по стенке, выскользнула, пронырнув под мышкой мужика к двери, и нажала звонок, не отпуская его кнопку. В квартире по-прежнему стояла тишина. Кнопку Лида не отпускала и по-прежнему держала что было силы леденеющими от страха кончиками пальцев.

– Помогите! – заорала Лида.

Через минуту она слышала топот стада слонов, бегущего от погонщика, за дверью напротив – и мужской голос изрек через дверь:

– Если вы не прекратите хулиганить, я вызову милицию.

Лида вдруг расслышала шаги и за дверью своей квартиры, но не открывали, а, затаившись за дверью, слушали, что происходит в подъезде.

– Эх, раз... Еще раз... – пропел мужик хриплым баритоном, раздавшимся, точно из старого репродуктора.

– Вы меня поняли? Я вызываю милицию, – донеслось из тамбура напротив.

Боязливо приоткрылась дверь из квартиры под «красным фонарем», ровно настолько, чтобы могла в нее просунуться голова ослепительно пепельной блондинки с длинными русалочьими волосами, которая отчетливо выговорила:

– Немедленно уходите или я вызову своего охранника, вам мало не покажется. Мотай удочки отсюда! Ты меня слышишь?

Мужчина с минуту, точно раздумывая и колеблясь, постоял – и начал быстро спускаться по лестнице. Обе двери захлопнулись – и она осталась одна. До нее донеслись приглушенные голоса из ее квартиры, звучавшие, будто из погреба. Голоса были мужской и женский. Дамский голос был явно раздражен, вибрировал на взлетевшей ноте и доносился, по-видимому, из спальни. Лида слышала удаляющиеся шаги Андрея.

Больше ломать звонок она не стала. Снова села на лестницу, прислонившись виском к стене, остужающей каменным колодцем поднимающийся внутри жар, и подумала о том, что она будет делать, если эта дверь не откроется никогда? Назад в деревню она не поедет. Это уж точно. Значит, придется искать квартиру. А это, конечно, дорого очень и долго так она не просуществует... Андрей был удобный вариант во всех отношениях, если бы только не его мамашка!.. Может, ей и надо было смолчать, но, сколько можно терпеть диктат свекрови?

Она, конечно, проживет и так... А совсем недавно она была свободной и могла делать, что ей было угодно. А теперь... Эта вечная жизнь под прицелом... Только она делает шаг в сторону – как черная прорезь тут же сдвигается, следуя по траектории ее перемещения. Как же она от этого устала! Чего она, собственно говоря, добилась своим вывертом? Думала, что Андрей кинется за ней сломя голову по лестнице, ломая ноги? Померещилось только, что пуповину перерезали, а на самом деле вот она! Общий кровоток у матери и сына... Куда уж тут с этим тягаться деревенской Лидке...

Сдвигалась по холодной стенке к ватному одеялу сна, медленно погружаясь и закутываясь в его обволакивающую нежность. И вот уже она летает, парит над городом, но из его труб, торчащих, будто выехавшие гвозди из расшатанного дома, идет черный дым. Она лавирует между этими клубами дыма – и удивляется, что дым и не рассасывается вовсе; парит, будто орлица, высматривающая добычу... Люди с ее поднебесной высоты – маленькие букашки... Она медленно снижается, букашки начинают расти в размерах, вымахивая до Гулливеров, – и вот она уже сама теряется среди этих гигантов, боясь стать чьим-нибудь охотничьим трофеем.

Она очнулась от резкого стука, похожего на тот, что бывает от закрываемого канализационного люка; раздается ленивый лай, перемешанный с незлобным рычанием. Лида вздрагивает и просыпается, ссутулившейся спиной чувствуя движение здоровой собаки, тянущей на поводке за собой хозяина. Глаза пса плотно завешены белыми лохматящимися космами, как бахромой. И Лида думает: «И что это он интересно может за этим разглядеть? Может, и мы, как этот кавказец, видим лишь малую часть всего, густо занавешенные собственными представлениями?» Через полтора десятка лет ее дочь заведет такого же мохнатого зверя. А пока Лидочка сидит на холодной каменной ступеньке и думает о том, что она могла застудиться за эту бунтарскую ночь. Скоро ее домашние пойдут на работу. А что же делать ей? Она резко поднялась, чувствуя сильную боль в затекшей ноге, в которой закололи тысячи иголок, и медленно спустившись по лестнице, словно в замедленной киносъемке, вышла в утренний молочный туман, сквозь который можно было разглядеть лишь себя. Ау! Люди! Вы меня слышите?

Весь день она была сама не своя, все время прокручивая, как заевшую граммофонную пластинку, события последнего дня. Она решила прийти домой пораньше, пока Андрея и его родителей не было дома.

Отпросившись с работы за час до звонка, бежала по улицам со сбивающимся дыханием, как загнанный заяц, почти задыхаясь. Сунула ключ в замочную скважину – и вздохнула с облегчением, поняв, что он нырнул до упора, повернула его – и вошла.

Решила, что надо быстренько приготовить что-нибудь вкусненькое: «Блинчиков что ли напечь? Или пирожков?» Замесила пресное тесто, поставила варить яйца, чтобы потом размять их вилкой и завернуть в блины. И начала священнодействовать. Через полтора часа все было готово.

Поставила на стол огромную гору ароматных блинов, налила в вазочку малинового варенья – мамин презент, открыла банку сгущенки, положила на сковородку десять блинчиков, завернув в них яйцо или творог.

Первой пришла свекровь. Лида так хотела, чтобы это был Андрей или свекор. Свекровь, раздевшись, быстро прошла в свою комнату, потом на кухню, где Лидочка отмывала посуду после готовки, окатила невестку ледяным взглядом и изрекла:

– Если ты думаешь, что я позволю иметь сыну гулящую по ночам жену, то ты глубоко

заблуждаешься.

Вскоре появился и свекор. Свекор равнодушно поздоровался с ней, наткнувшись на нее в коридоре, – и удалился к себе.

В квартире было холодно, как в ледяном доме в парке на Масленицу.

Лида с обмирающим сердцем, готовым заглохнуть совсем, забуксовав в колее, ушла в спальню и ждала мужа.

Она слышала, как свекровь прошла на кухню и загремела кастрюлями, будто по железной кольчуге врага, пытаясь изрубить ее на кусочки. Через полчаса свекровь позвала свекра ужинать. До Лидочки донесся запах борща.

Она посмотрела с тоской на часы. Андрея все не было. Лида стала разглядывать будильник. Часы были механические, древние, вставленные в деревянный кукушечий домик. Но кукушка давно умолкла, маятник висел рыболовным грузилом. Стрелки замерли на месте, будто лапки присосавшегося к стеклу жука. Через каждую минуту длинная лапка конвульсивно дергалась – и передвигалась на одно золотистое деление. Маленькая короткая лапка дергалась реже, будто жук начал агонизировать. Кургузая лапка вздрогнула – и встала на палочке в паре с крестом.

Дверь спальни рывком распахнули – и выросшая в проеме на фоне уходящего в ночь коридора свекровь, готовая взорваться, как забродившая банка с огурцами, раздраженно сказала:

– Догулялась! Иди, ищи его теперь!

Через час свекровь взяла телефон и начала названивать друзьям Андрея.

Еще через час фосфоресцирующая свекровь вновь возникла на пороге спальни:

– Позвонила бы хоть дружкам его!

Мать Андрея выстрелила дверью и сама рьяно начала накручивать диск телефонного аппарата. После очередного разговора она кидала трубку на телефон так, что он издавал жалобное мяуканье брошенной на пол игрушки-пищалки. Потом опять поднимала ее – и накручивала диск снова.

В промежутки между звонками, Лидочка слышала:

– Вы меня с ума сведете! Вы меня доконаете!

Странно, но Лида почему-то совсем не беспокоилась за Андрея. Она была уверена, что тот где-то прохлаждается. В кино пошел, торчит у друзей или сидит в каком-нибудь баре. Она не чувствовала угрызений совести, но ее душили слезы из-за обиды, что она потратила столько сил на блины, пытаясь залить клеем наметившуюся трещину хотя бы снаружи.

Лида не успокаивала свекровь, инстинктивно понимая, что это только вызовет очередной шквал негодования, все иссушающий и срывающий со своих мест.

Ей только было ужасно обидно, что все снова делают из нее виноватую: «Знай свое место». И опять она ничегошеньки не добилась. И напрасно отпросилась с работы печь блины. Свекровь даже и не притронулась.

– И где этот гаденыш? – бросила в сердцах о сыне.

– Да гуляет он где-нибудь, успокойтесь, – крикнула Лида.

Ей не ответили.

Она слышала нервные шаги взад-вперед по гостиной, будто метроном какой стучал, тук-тук-тук... Или усиленный через фонендоскоп стук сердца выбивал чечетку.

Без пяти час Лидия услышала поворот ключа в замке. Сердце вспорхнуло посаженной в клетку птицей...

Лида услышала резкий голос свекрови, похожий на совиный крик:

– Вы меня доведете! Взяли моду шляться черт знает где. Где тебя черти носили? Что позвонить нельзя было? Сволочь! Вы меня доведете, что похороните!

Андрюша прошмыгнул в спальню, сделав отсутствующую и независимую от скорбного вида жены мину, – и быстро переодевшись, ушел умываться и после проследовал на кухню. Стало тихо, только из гостиной доносились голоса из телевизора. С замиранием сердца ждала Лидочка Андрея, понимая, что семейная лодка ее сильно накренилась, в корме незаметно прибывает вода, а она вместо того, чтобы вычерпывать ее по капельке консервной банкой, хотя и перестала раскачивать лодку, но сидит на борту, свесив ноги, и глядит в черный омут, отражающий ее искаженное лицо.

Пужинав, Андрей удалился в гостиную смотреть телевизор.

Лида, наконец измученная ожиданием неизвестности и проведенной бессонной ночью накануне, внезапно почувствовала, что на нее наваливается тьма сна, тяжелая, будто мешки с алебастром, обволакивающая, словно глубокий снег ствол у яблони, что не дает той погибнуть от мороза. Как сомнамбула, нырнула под одеяло и с ощущением блаженства, что голова утопает в пуху, провалилась во тьму, которую разрезали фары встречных машин, неоновые огни рекламы и бенгальские огни... Она не слышала, как пришел Андрей, а утром вскочила от трезвона будильника, напоминающего сигнал трамвая замешкавшемуся пешеходу.

На работу она ушла сама не своя, чувствуя, как натянулась нить между ней и ее домашними. Чуть-чуть накрути ее на палец еще – оборвется. Палец уже кровил, обозначив саднящий порез, будто жабры рыбины, выброшенной на отмель. Уже надо было зализывать раны.

Вечером снова все повторилось: Андрей пришел домой в двенадцать, Лида лежала на сбившейся постели и плакала в подушку.

Свекровь ее игнорировала. Делать ничего не хотелось. Лидочка взяла книгу и попыталась читать, но строчки прыгали, буквы разбегались, будто муравьи. Страшно потянуло домой в теплые мамины руки, пахнувшие свежее испеченным караваем. Она опять погрузилась, как вчера, в сон, на этот раз не раздеваясь, просто свернувшись жалким крендельком на одеяле. Ей приснилась маленькая голубоглазая девочка лет трех. Девочка та, одетая в бирюзовое платье с невесомыми оборками и струящимися, будто горная вода, фалдами, почти сливающаяся с голубым разливом поднебесья, шла по тоненькому веревочному канату, ловко, словно крыльями, балансируя кукольными ручками. Канат был перекинут с одной серой скалы на другую. Внизу простирался сказочный вид долины, захватывающий дух. Укрытые травяным паласом горы, разрисованные ближе к долине охряно-багряным орнаментом осеннего леса с золотистой росписью и темно-зелеными вкраплениями елочных пирамид. На дне блестела расщелина, наполненная голубой водой. Девочка шла ей навстречу. Девочка ступала осторожно, и, увидев ее, перестала взмахивать своими ручками-крыльями, а потянулась к ней. И вдруг побежала по веревочке быстрее, ловко перебирая натянутый над пропастью шнур своими маленькими ступнями в белых балетках. Голубые глазищи распахнуты васильками, в желтых их серединках качались солнечные зайчики и отражалось бездонное небо, убаюкивающее облака.

Лидия лежала в полной тишине и смотрела в потолок. Все-таки семейная жизнь – скучная вещь... Все дни одинаковые, как белые кафельные плиточки. Но разве она найдет еще раз то, что она так легко получила? Не в общагу же ехать или на съемную квартиру?

Мама говорила, что мудрость женщины – это терпение. Она согласна терпеть мужа, но его родственников... Получается, что она чужая в их доме, что устроила себе городскую прописку. Но ей-то на самом деле Андрей нравился очень.

Тишина сгущалась в комнате, как перед грозой. Было душно и тревожно. Неясно, как дальше жить, и все, по сути дела, из-за ерунды. Почему она боится встать и пойти в гостиную включить телевизор? Почему ей не могут звонить ее друзья и она никого не может пригласить в гости? Как дальше жить, ну совсем непонятно... Стать тенью. Извиниться и согласиться – значит пойти на попятную, и так будет всегда. О тебя постоянно будут вытирать ноги, строить по линейке... Не признаться в своем поражении – значит подвести итог своему браку. Свекруха будет капать Андрею на мозги, чего ей стоили только два последних дня! Свекровь демонстративно молчит и поджигает губы... Муж – на стороне матери. Одна во вражеском стане. А говорят, что муж стена, за которую можно прятаться! Какая уж тут стена! И сегодня свекровь совсем, похоже, и не дергается по поводу отсутствия сына. Знать, мать он предупредил, это она бесится только.

Наконец в замке послышался беспокойный поворот ключа. Лида облегченно вздохнула и подумала, что она опять не знает, как себя вести. С одной стороны, ее захлестывала ярость, огромная, готовая все смести и разрушить. А с другой стороны, пожалуй, больше всего на свете она боялась сейчас, что все рухнет.

Андрей с независимым видом заглянул в комнату, взял домашнюю одежду и быстро вышел, будто опасаясь, что Лида с ним заговорит. Гремел на кухне посудой и хлопал холодильником... А чего хлопает? Она ему на сковородке все оставила. Только разогреть. Она слышала, что муж включил телевизор и ушел, видимо, смотреть кино с тарелкой картошки.

Лида чувствовала, что ее лицо горит, точно после первого загара в ветреный день. И снова она начала западать в наваливающийся, будто душное одеяло, сон. И снился ей огонь, что внезапно вспыхнул от небрежно брошенной спички, пролетевшей мимо консервной банки на коврик из рогожки, описав огненную мертвую петлю...

Сердце оттаивало в теплой комнате, жгло глаза, и начала кружиться голова. Комната принялась медленно вращаться, все убыстряя и убыстряя свое движение; к вращению теперь еще добавилось легкое покачивание на проселочной дороге. Потолок крутился, словно она находилась в ракете на карусели, все очертания были размыты и укутаны сгущающимся туманом. Комната теперь качалась, точно лодка. То волной морской тебя поднимает, то ухаешь с гребня в пенящуюся черноту. Будто летишь на качелях: то с замиранием сердца взлетая в поднебесье, то еще чуть-чуть – и сделаешь полное сальто, сорвешься в штопор, выпадешь за борт. Она вжималась в подушку, стараясь не шевелить головой и не разговаривать. Пыталась заснуть, понимая, что утром все должно встать на место. К счастью, с ней никто и не говорил... «Господи... – подумала она, – и как маленьким детям может нравиться качание в люльке!»

Снов в эту ночь ей не снилось. Сквозь рваное забытие она слышала, как муж лег спать, потушив свет. Темная ночь, в которой изредка возникали огненные вспышки огней, стала еще беспросветней. Яркие пятна фонарей слезились и удалялись, будто огни теплохода, идущего через ночь по темной реке. Только вот рыжие искры костра теплились где-то на том берегу, словно огоньки от сигареты в ночи.

Утром ее по-прежнему мутило. Лида была уже почти уверена, что беременна. Седая верткая врачиха, к которой она так не любила ходить, не рассеяла ее догадку. Значит, все.

Петля затянулась. Не выпрыгнешь, прикована за ногу к опоре. Но это же хорошо! Значит, теперь она сможет хоть чуточку настаивать на своем, дергать мужа за веревочки, как куклу на шарнирах. Она же этого хотела. Теперь она точно останется в этом большом доме. У нее есть будущее. И она теперь никогда не будет одна, потому что ребенок – это ведь часть тебя, твоя кровинка. Она сможет его воспитать таким, чтобы было на кого опираться в жалкую старость и чтобы можно было им гордиться, а не опускать глаза. Она знает, что сможет. Но для этого ей придется запрячь свои амбиции и норы подальше. Ребенок не должен расти в доме, где живут в скандалах...

Она шла по осенней улице, улыбаясь внезапно вернувшемуся лету. Ягоды рябины уже поджигали сухие листья. Часть листочков свернулась черными огарками, другие, подхватив огонь, колыхались на ветру ровным, спокойным пламенем, напоминающим о том, что все в этой жизни конечно. Корявые тополя, стоявшие, как нищие, вдоль тротуара, – с обрубленными и скрюченными ветками, что все были изуродованы узлами от наплывающих опухолей в травмированных местах и напоминали скрюченные руки стариков, роняли заржавевшие листья на серый асфальт – и они летели, подхваченные легким дуновением ветра, мешаясь с самолетиками от кленов, объятые прощальным огнем...

Лида насилу пришла домой. Ноги стали свинцовыми – и она их с трудом переставляла, еле-еле отрывая от земли. В голове гудело, и снова в глазах серебрились блески новогодней мишуры, и вновь к горлу подступала дурнота. Она тотчас легла, даже не раздеваясь, так как вся комната опять вращалась, стены наезжали на Лиду, грозя обрушиться, и ее нынешняя жизнь казалась ей нереальностью.

Она, опять вжимаясь в подушку и боясь пошевелить головой, постаралась провалиться в спасительное забытие. И снова сноп светящихся новогодних огней бил в глаза, но огни постепенно заволакивало каким-то то ли туманом, то ли дымом, полупрозрачным, размывающим фонари до гигантских размеров.

Она проснулась от шагов мужа по комнате, играющих на дощечках паркета. Открыла глаза, вспоминая, что же с ней произошло.

– Андрюша, – выговорила она откуда-то из глубины нутра, стараясь не двигать головой и не раздвигать губ. У нас ребенок будет, наверное. Я очень плохо себя чувствую. Андрей с минуту стоял в звенящей тишине, потом медленно опустился на кровать.

– Ты уверена?

– Да, мне и врач сказал.

Муж посидел еще несколько минут в обступившей их со всех сторон тишине спальни и вышел, беззвучно притворив за собой дверь.

Сквозь забытие до нее доносились голоса из соседней комнаты и кухни. Говорили тихо, но о чем не понять... Как на иностранном языке. Слов не разобрать, только слышна чужая речь, и можно лишь догадываться по интонации голоса о настроении говорящих.

Первым чувством, когда Лида поняла, что беременна, было чувство растерянности. Она совсем не готова была становиться матерью. Ее юность еще не кончилась, ей еще хотелось самой побыть ребенком, любимым и лелеемым. Она плохо понимала, что ей предстоит. Вслушивалась в себя – и ничего не ощущала. Ей нравилось, что ее окружили двойной заботой, но расстроило, что муж будто и не хотел этого ребенка. Сказал, что ребенок может их разъединить. Они собирались на юг в это лето. Она никогда не видела море, а теперь ее поездка накрылась медным тазом. И она никогда уже, может быть, никогда не увидит того, что видела в кино: лазурного, бескрайнего, будто отпущенные возможности, моря. Море снилось ей по ночам – волнующееся, выбрасывающее на берег медуз, которые мгновенно исчезали на солнце, как ее не реализовавшиеся планы. Ее мучила тошнота – будто жестокая морская болезнь. Качалась на волнах жизни в искусственном море, где русло реки перегородили большой плотинной. Уровень воды все поднимался, а ветер потихоньку раскачивал образовавшееся море. Она совсем не могла смотреть на еду: всю выворачивало. Иногда ей было настолько плохо, что она начинала ненавидеть и будущего ребенка, и свою семейную жизнь. Чем больше становился срок, тем сильнее накапливалось раздражение, что вот теперь вся ее жизнь дарована маленькому с каждым днем все растущему головастику, отнимающему у нее все силы. Отныне она себе совсем не принадлежит. Иногда она чувствовала необъяснимую нежность к этому головастику. Нежность накатывала внезапно, прыгала на колени котенком, терлась о росший живот и сворачивалась клубочком. Лидочка уже представляла, как будет малыша пеленать, завязывая белый конверт бантиком, целовать ручки и ножки в перевязочках, когда просовывает их в рукава распашонки или ползунки, качать в коляске под ажурным кленом, пускающим свои самолетики, и учить становиться человеком. Живот делался все больше похожим на надувной мячик, который они с визгом бросали в детстве в деревенском пруду друг дружке. Вся она пошла какими-то коричневыми пятнами, напоминающими гниль на опавших листьях. Она стала переваливаться, как уточка, и ей все труднее было передвигаться: волочила отекавшие ноги-бутылки, будто тромбофлебитная старушка.

Токсикоз не проходил, она бежала на негнувшихся ногах после каждой еды к унитазу, зажимая рот ладошкой, потом ложилась на кровать и смотрела в потолок, что начинал вращаться, точно она скачет на карусельной лошадке. Лошадка кивала головой, Лидочка пригибалась к ее гриве – и крутящийся потолок то приближался, то удалялся. По кочкам, по кочкам, вцепившись в гриву, сжимая костяшками пальцев поводья – пододеяльник, лишь бы лошадка не взбрыкнула – и не скинула ее на землю.

Иногда ей было настолько плохо, что хотелось, чтобы все кончилось – и она снова бы стала стройной живой девушкой, на которую оборачиваются на улице. Она чувствовала себя иногда маленькой серой мышкой, что сунулась за кусочком сыра в мышеловку, да в последний момент почему-то отпрянула, но мышеловка успела прищемить ей лапку: и теперь она сидела в растерянности, не зная, как вырваться.

Уже знали, что будет девочка. Андрей предложил назвать ее Василисой, в смысле, что Василиса прекрасная. Свекровь сказала: «Пусть лучше будет премудрая». А Лида хотела, чтобы была и прекрасная, и премудрая.

Андрюша не был готов стать отцом совершенно. И если Лида начинала как-то

готовиться к появлению малышки: покупала розовые ползунки и распашонки, строчила на машинке пеленки из батиста, что лежал у мамы в сундуке, – еще мамино приданое, то Андрюша мог часами вертеть в руках пластмассовую головоломку, из которой нужно было собрать единственную верную конструкцию так, чтобы не осталось ни одной лишней детальки. Конструкция никак не складывалась, это раздражало Андрюшу, и он ужасно злился, что мать заставляла его идти мыть посуду или в магазин. Лида почему-то подумала, что и ее семейная жизнь – вот это составление правильной конструкции, что они очень стараются ее сложить, но все время или не хватает одной детальки, или остается одна лишняя. Конструкция эта была никому не нужна, и совсем не стоило тратить столько сил и времени, чтобы все увязать так, как положено, но что-то неодолимое заставляло снова и снова все расставлять по нужным местам.

Иногда Андрюша просто сидел на постели рядом с ней и смотрел на зеленое, цвета кабачков, искаженное мукой лицо жены, страдальчески сжимающей губы, и у него просыпалось странное чувство жалости и брезгливости одновременно. Ему казалось, что он тоже попал в какой-то если не в капкан, то в клетку, где позволено ходить, как загнанному, по периметру. Рождение ребенка не пугало его, но ему казалось, что ребенок отдалит их с женой друг от друга. Уже отдалил. Его жена, им самим посаженная в лодку на корму, случайно оттолкнулась веслом от берега, пока он мешкал, и медленно удаляется, растерянно улыбаясь, подхваченная попутным ветром и шустрым течением воды.

То, что она скоро станет мамой, Лида воспринимала как какую-то нереальность. У нее не было никакого желания рожать, вскармливать, тискать и прижимать к себе маленькое тельце. Дети не вызывали в ней того умиления, какое она наблюдала у многих своих подруг, когда те, увидев в коляске новорожденного малыша, начинали сюсюкать, склоняясь над гордо распахнутой для обозрения коляской, таящей в себе визжащее сокровище. Она отходила в сторону и спокойно переживала всеобщий щенячий восторг, как перед сахарной косточкой.

Рожала она тяжело. Сначала страшно боялась. Хотелось заснуть – и проснуться сразу без живота. Если бы можно было у себя в деревне рожать, то рожала бы там. Там была мама, там она дома была, там бы ее в беде не оставили никогда. А тут... Ей казалось все время, что она живет в какой-то чужой стране. Вроде, все вежливы, приветливы, достаток и красивые витрины магазинов, а только ничего не понимаешь, не можешь ни спросить, ни рассказать о себе, душу выплеснуть некому, чтобы стресс снять, хотя, наверное, упади она на улице, ей помогут... А коли душу вывернуть не можешь, чтобы вытряхнуть все накопившееся и тревожащее, будто муравья, забравшегося под рубашку, то и бродишь неприкаянная, расчесывая себя в кровь. Она была по жизни неуверенным человеком, не победителем, не то, что нынешние молодые, которым палец в рот ни клади... А она – дрожь и обморок. И откуда у нее, у деревенской девицы, эти опущенные долу глаза тургеневских барышень? Но хороших акушеров там не было. Когда уходила в палату, бросила на Андрея прощальный взгляд ребенка, оставляемого впервые в детском саду.

Чувствовала себя в роддоме, словно в казарме. Желтое солдатское белье, злобный взгляд акушерки, которая, казалось, ненавидела всех молодых. «Чего орешь? Много вас тут, если все орать будут...» А она и не кричала вовсе, кусала до крови посиневшие губы и радовалась, что врачиха отвалила и матом не ругается. А пока врача не было, отошли воды... Она не помнит ничего почти, даже время не заметила, когда Василиса родилась. Что долго зашивали – помнит, после родов она месяц не могла сидеть совсем. Кормила дочку лежа, пока было молоко. У нее скоро грудница началась. Ее снова резали и зашивали. Сделали какой-то укол обезболивающий, а у нее непереносимость. Она помнит, как тогда медленно открылись ворота в туннель, лязгая дверями проходящего за окном трамвая, – и она почувствовала, что ее будто омутом затягивает в этот туннель, светящийся равнодушным светом люминесцентных ламп операционной. Этот свет слепил, точно южное солнце, отражавшееся в горах от белоснежного девственного снега.

Она решила тогда, что больше никогда рожать не будет. Ни за что. Но мудрая природа все стерла из памяти, точно волна следы на песке... Так, видимо, устроена жизнь, что мы все забываем. И боль тоже...

Наутро привезли перепеленатые надрывающиеся свертки, лежавшие, будто рассыпанная вязанка дров. Когда первый раз ей подали дочь, чтобы покормить, и она смотрела на этот почмокивающий комочек – в ней вдруг медленно начала просыпаться такая нежность... Нежность была еще в полусне. Нежность еще плохо понимала, где она, внезапно очнувшись от забытья. Нежность прибила звякнувший будильник и подумала: «Еще успею, еще полежу чуток, сладко потягиваясь спросонья». Сон медленно уходил. На нее смотрело маленькое существо своими серыми серьезными глазами, волнующимися, как море в непогожий день. Лида еще не чувствовала себя мамой, ей самой хотелось к маме и пожаловаться, что у нее все разорвано, но это красное сморщенное существо вызывало удивление: «Неужели это мое?» Отечный и маленький, будто котенок, младенец терпеливо позволил взять себя в руки, неловко пристроился к шершавому коричневому соску, похожему на замороженное пятно на румяном яблоке, – и принялся сосать. Отдуваясь от первой трапезы, удивленно разглядывал мутными щелочками глаз нависшую над ним белую грудь, сквозь нежную кожу которой просвечивали голубые ручейки прожилок, с которыми совсем недавно его сосудики

имели общее русло.

Первые месяцы были настоящей каруселью. Лида летела в этой карусели в каком-то полусне, плохо понимая, где кончалась явь – и она проваливается в забытие. Ребенок все время плакал.

Она буквально падала от усталости. Просто закрывала глаза и мгновенно засыпала в том месте, где она оказывалась. Это могло быть и кресло, и стул, и за письменным столом, и за обеденным. Она даже не роняла голову на сложенные руки. Просто прямо сидя проваливалась куда-то в другую жизнь, полную разноцветных огней ночного города или солнечного света, рвущегося в прорези тяжелых занавесок. Она спала очень недолго. Через несколько минут вздрагивала, будто от испуга, от истощающего детского плача. Пока Василиса была крошечная, Андрей почти не помогал ей. Но зато ее пытался укачивать свекор. Вася за несколько минут на его руках затихала, но, как только ее возвращали назад, начинала блажить. Вся ее жизнь была подчинена этому маленькому сопящему существу, у которого она находила все больше своих черт.

Она очень долго тогда никак не могла отойти от родов. Молока не было. Начался мастит. Лида лежала на их супружеской кровати. Потолок и стены менялись местами, как в цирке у гонщика по отвесной стене. Грудь горела, будто печка, и была красная, как вываренная свекла. Она представляла себя гусеницей, передвигающейся то по стене, то по потолку, лишь бы не сорваться на пол, где рискуешь быть раздавленной чьими-нибудь ботинками. Она думала о том, что скоро она окуклится и заснет, а потом проснется, как новая, вспорхнет шелкокрылой бабочкой, вылетит в окно, подхваченная легким сквозняком, будет порхать с цветка на цветок, но в конце концов обязана будет отложить яички. И так по кругу... От вращения потолка ее начинало мутить, и она попыталась зажмурить глаза. Боль жадными челюстями вгрызалась в тело, и ей бредилося, что большая черная собака, похожая на матерого волка с седым брюхом, склонилась над ней и, вцепившись своими зубами в сосок, стала играть грудью, как щенок, у которого режутся зубы, будто детским мячиком. Укусит, отшвырнет лапой, откатит, потом радостно подбежит, виляя хвостом от восторга, и снова вцепится, и снова выпустит...

Приехала «скорая». Сделали новокаиновую блокаду. И все – собака вдруг развернулась и побежала, опустив и свой хвост с насаженными на него репьями, и голову с прижавшимися к макушке ушами. Лида опять увидела длинный туннель, весь залитый светом. Стены туннеля, видимо, состояли из маленьких зеркал. Она везде видела свое отражение. Она попыталась войти в коридор, но натолкнулась на гладкую холодную стену. Увидела следующий вход – и пошла к нему, но снова наскочила на зеркальную поверхность. Она уже боялась шагать – вытягивала руку, чувствуя лед стеклянного отражения. Она металась загнанным зайцем по лабиринту, то тут, то там маячил вход в залитый загадочным светом туннель, похожий на театральные декорации из сказки, что когда-то видела в своем детстве. Снова и снова грудью натыкалась на зеркальную стынть. У нее закружилась голова – и ей стало страшно. «Выведите меня отсюда!» – хотела закричать она, но вдруг почувствовала, что совсем потеряла голос и может только разевать рот, как холодная скользкая рыбина, покрытая чешуей из маленьких зеркал.

Когда она очнулась, то увидела над собой врача, что держал ее за запястье, пытаясь нащупать пульс в синеньком ручейке, просвечивающем сквозь корку льда.

Она часто спрашивала себя: ради чего она тратит столько сил и нервов у себя на работе? Стоит ли это того, чтобы не додавать своим близким? Да, с одной стороны, дом – это рутина, засасывающая тебя, будто маленькое болотце, образованное родниковой водой, петляющей и растекающейся между кочек, – утонуть не утонешь, а сухим никак не пройти даже в насквозь пропитанные летним солнцем дни. С другой стороны, это – залог твоего будущего. А работа... Ну, что работа? Добыча средств к существованию. Она вспоминала себя двадцатилетнюю. Ей тогда на самом деле было все ново и любопытно. Тогда она дрожала от радости и неослабевающего интереса, когда получала какой-нибудь новый результат, будто маленький котенок, увидевший шуршащий и передвигающийся за длинной ниткой яркий комочек из обертки от съеденной кем-то шоколадки, свернутый забавы ради. Шла работать она по любимой специальности и хотела еще кем-то обязательно стать и что-то успеть. Пока не появились дети, она работала зачастую взахлеб, будто квас в жару жадно глотала, радуясь каким-нибудь своим маленьким открытиям и изобретениям. По мере того, как она приобретала опыт, интерес утрачивался. Работа постепенно превращалась в переполненный трамвайный вагончик, в котором она медленно ехала по городскому кольцу, делая плановые остановки. За окном была жизнь, но у нее совсем не было сил и времени выйти на улицу, чтобы почувствовать дыхание весеннего ветра... Всей посеревшей за зиму кожей ощутить, как майский ветер, будто теплый морской бриз, омывает все больше изменяющееся лицо, которое оплетала, точно паутина, сеть сначала еле заметных морщин, высвечиваемых лишь ярким солнцем, но с каждым годом становящихся все глубже, кустистей и уже давно видимых даже в несолнечный день. Иногда она думала о том, что она слишком мало времени проводит с семьей. Главное для нее было – успеть всех накормить и то, чтобы дети не попали под дурное влияние.

Пока была жива свекровь, она знала, что дети будут под ее опекой и пристальным оком, и она может не занимать служебный телефон для их проверки, может спокойно после работы стоять в очереди в магазине или даже задержаться на службе, что происходило у них частенько. Да, она чувствовала себя маленькой шестеренкой в четко отлаженном и смазанном механизме, хотя и одной из главных, без которой устройство не могло функционировать... Ее жизнь давно не принадлежала ей. Она не помнит уже, когда она имела право на свои вкусы, мнения и привычки, но зато у нее было ощущение уверенности в завтрашнем дне, бесполезности ее жизни и осмысленности существования, к коим примешивалось чувство удовлетворения от комфортного благополучия. Ее жизнь удалась, а значит, и старость ее будет спокойна и философски смиренна.

После смерти свекрови Лидочка как-то растерялась. Нет, она, стыдно себе признаться, даже была счастлива, что ей не надо ни с кем делить Андрюшу и что она теперь вольна делать в их большом доме все, что душе угодно – и никто даже не посмотрит на нее тяжелым взглядом, припечатывающим ее к полу, будто пудовая гиря, взваленная на плечо, ровно кувшин у женщин Востока. Никто не оборвет ее властным голосом командира полка. Ей не надо больше, как страусу, втягивать голову в плечи, балансируя на одной ноге... Она теперь, не боясь резкой реакции (замешанной на зависти?) могла приобрести очередное новое платье и открыто повесить его на плечики в шкаф, а не заворачивать в старый рваный халат, который паковала в два непрозрачных пластиковых пакета, прежде чем убрать в шифоньер.

Но неожиданно для себя она поняла, что вдруг утратила ощущение какой-никакой стены, за которой было удобно прятаться и от ветров жизни, и от нещадного солнца. Это было для нее удивительно! Оказывается, что она жила не за мужем... Ей теперь совершенно не с кем было посоветоваться, что и как переставить в доме, чем лечить детей, куда отправить их на каникулы, некому пожаловаться, что Андрей опять засиживается в компании друзей за бутылочкой горячительного. Лидочка с удивлением для себя обнаружила, что она будто все время со свекровью разговаривает, советуется с ней и жалуется. Она словно слышала твердый властный голос матери мужа, указывающий ей, что же делать во вверенном ей доме. Голос звучал так явственно, что ей казалось, что это сон. Но, нет... Она ходила по их просторной квартире, отдавала команды мужчинам, что и как переставить, с усмешкой про себя сознавая, что в ее голосе все отчетливей проявляются безапелляционные нотки свекрови, которые она люто ненавидела, такие же жесткие, будто скрученная проволока в металлической мочалке для отдраивания кастрюль. Она даже теперь про себя пересказывала матери мужа прошедший день, и ей казалось, что свекровь слышит ее оттуда и, как может, помогает ей. Когда она чувствовала, что делает что-то не так, она будто видела осуждающий взгляд свекрови – и ей хотелось, как в молодости, закрыться в спальне на дверную задвижку. Неожиданно для себя она обнаружила, что свекровь стала для нее родным человеком. Теперь она скучала по ее властному голосу, не требующему возражений. Не раз она с раздражением выговаривала мужу, что была бы жива его мать, она бы уж не позволила сделать то-то и то-то...

Она удивлялась, что дети почти не вспоминали бабушку... А ведь свекровь, по сути дела, их вырастила. Или вспоминали, да только не говорили ей об этом, интуитивно чувствуя всю свою жизнь наэлектризованное поле, что всегда лежало между ними, и боялись своего резкого движения по этому полю, думая, что от их быстрого шага полетят искры, а там и до очередного пожара – рукой подать? Неужели и сейчас они ушли со своей печалью о безвозвратно потерянном родном человеке в себя, как уходят кошки в подвал зализывать больное место или умирать? Боялись, что она догадается об их боли?

Однажды она застала Василису, когда та рассматривала старый альбом с фотографиями, где были молодые свекор со свекровью. Василиса испуганно обернулась на открывшуюся дверь, вздрогнула, будто лань на опушке, объедающая мягкие листья вышедших из леса кустарников, увидев боковым зрением приближающегося охотника. Потом поспешно захлопнула альбом и судорожно стала заталкивать его в книжный шкаф. Глаза у нее влажно и воспаленно блестели, словно обожженные ледяным ветром.

Андрей почему-то никогда после смерти матери не говорил с женой о ней. Лида знала, что он грустит, и думала о том, что он боится услышать от нее что-то резкое, язвительное, жальщее, похожее на укусы пчел, выгнанных из обжитого ими улья... Андрей стал теперь к ней ближе. Нынче он очень часто во многом советовался с ней и жаловался на своих коллег и знакомых. Лида открыла для себя, что раньше все это, видимо, муж рассказывал матери... Маленький стареющий мальчик, потерявшийся в большом шумном универмаге... Теперь Лидочка должна была крепко держать в руках вожжи, чтобы ненароком не занесло телегу семейной жизни в заметенный снегом овраг.

Она совсем перестала следить за собой дома. Надевала вылинявший халат с вырванной из полы пуговицей вместе с клочком цветастой ткани, от которой осталась прореха, будто выгрызенная мышью; шерстяную кофту, проеденную молью со спущенными петельками, что бежали наперегонки от многочисленных дырок, образовавшихся, словно от упавшего и разбившегося пузырька с кислотой; всовывала отекившие за день ноги в тапочки, просившие каши, поролоновые, мягкие-мягкие – ощущение было, что ходишь по дому в носках. У нее и дома было такое чувство теперь, что она живет в разношенных тапочках, что не надо исподтишка озиаться на себя в зеркало и смотреть, хорошо ли ты выглядишь. Это уже не важно. Тебя и так любят. Пусть и не с придыханием отогревающего куст подмороженной неожиданными заморозками розы. Пусть и не пылким чувством влюбленного, готового зажечь весь дом от искры, метнувшейся от косы, нашедшей на камень, – и теперь грозящей в одночасье оставить без крыши под головой... Тебя любят как человека, к которому привыкли, точно к пуфику на диване, на который можно положить голову, а можно водрузить ноги или обнять уставшими руками, будто ребенок обнимает мягкую игрушку, – и сладко заснуть не в одиночку. Это было какое-то новое и неожиданное для нее чувство уверенности, что теперь уже совсем не важно, как ты выглядишь, – и это совсем не потому, что ты превратилась в предмет домашнего обихода, а просто тебя воспринимают как неделимую частичку себя: так родители любят своего ребенка, не замечая, что он некрасив или глуповат, любят просто за то, что это их кровинка. Ей стало казаться иногда, что уже можно только начинать фразу – доканчивать ее не надо, супруг все прочтает по глазам и поймет с полуслова. Она тогда думала, что это и есть счастье, тихое и спокойное, что зовется семейной гаванью, где корабли отдыхают, поскрипывая ржавеющими бортами друг о друга. Счастье, что можно ходить в драном старом халате – и оставаться нужной, точно войлочные боты «прощай молодость», в которых дома так тепло и комфортно.

Постепенно Лида стала понимать, что, пожалуй, теперь она имеет такого мужа, какого всегда хотелось иметь ей. Она просто сделала его своими руками.

Была ли она счастлива в браке? Пожалуй, нет, брак представлялся ей длинным составом из обшарпанных вагончиков, что ехал по обочине леса, мотаясь на стыках рельс из стороны в сторону, но ни разу не сойдя с рельс. Она смотрела из окна вагона на пробегающие мимо перелески и мелькавшие изредка водоемы, полные свинцово-серой или зеленоватой мутной воды. Она выходила из вагона изредка. Стояла на перроне, смотрела на свой поезд с вагончиками-близнецами, среди которых затесался лишь один, тоже снаружи весьма похожий на другие вагончики, но в его окна проглядывали аккуратные столики, смутно напоминающие ресторан и праздник жизни... Стоя на перроне, она видела лишь толпу

снующих вокруг нагруженных скарбом людей, тащащих свою добычу на горбу, будто черные муравьи, и все тот же серый запылившийся поезд, под слоем копоти на котором лишь с трудом можно было угадать свежую зелень некошенной весенней травы. Ее попутчики тоже выходили на перрон глотнуть свежего воздуха и тоже видели свой серый запылившийся поезд. Они даже пытались пройти немного к голове состава или даже оглянуться назад, но все равно видели один и тот же серый закопченный поезд, на котором было написано «Семейный очаг».

Иногда она перебегала внутри мчащегося поезда в соседние вагончики в гости. В тамбуре было накурено, холодно и качало так, что она вцеплялась в поручень, боясь потерять равновесие и ткнуться головой в комнату с застоявшимся удушливым и едким запахом аммиака. Ей все время казалось, когда она открывала дверь в соседний вагон, что вот сейчас под ее ногами вагончик с лязгом отсоединится – и она не успеет перепрыгнуть в соседний вагон и провалится в бездну, грозящую ее поглотить надвигающейся тяжестью вагона, купе которого она со скуки покинула, как ей казалось, совсем ненадолго: только проветриться и вернуться назад...

Лидия Андреевна не могла сказать, чтобы семья была для нее обузой... Нет. Но, когда летом, она отправляла своих «спиногрызов» к матери, она вздыхала, набирая полные легкие уже запылившегося от летней жары воздуха, и начинала дышать спокойно и ровно. Теперь у нее даже находилось время пройти по летнему городу, разглядывая парашюты ярких женских платьев, что летели ей навстречу, как когда-то в усвиставшей от нее юности, будто ветер на взлетной полосе. Сама она уже почти забыла, что это такое: плавно спускаться сквозь дымок облаков под раскрывшимся куполом, с высоты которого все казалось никчемным и мелким.

Передых был весьма кратковременный. Каждую пятницу она отбывала к матери, навьючившись тяжелыми авоськами, тряпичные веревочки которых до боли и одеревенения резали сжимающие их пальцы. Впрочем, за неделю она успевала сильно соскучиться. И так и не успев переделать после работы допоздна домашние дела, катящиеся, будто на ходу слепленный снежок с горы, и которые теперь приходилось переносить с выходных на поздние вечера, когда она возвращается со службы, Лидия Андреевна отбывала снова в загородный рай из города, расплавленного и пропахшего разгоряченным асфальтом.

Мать, проработав всю жизнь в сельской школе, уйдя на пенсию, начала стремительно стареть. Приезжая домой, Лидия Андреевна все чаще замирала с останавливающимся сердцем и силилась протолкнуть застопорившийся комок в горле. У нее все чаще тоскливо ныло в груди, когда она смотрела, как мать быстро превращается в сгорбленную ворчливую старушку с садом, зарастающим крапивой, в котором та уже почти совсем перестала выращивать овощи. Их приходилось возить им с мужем из города, так как сил копать у Лиды оставалось все меньше, а Андрей был до мозга костей городской ребенок и вообще не понимал, зачем это делать, если можно сходить на базар.

Она знала, что матери все труднее управляться и с хозяйством, и с внуками... Да и дом постепенно начал коситься на бок, будто ногу подвернул и теперь стоит хромой, сдвинув набекрень тяжелую серую крышу, точно берет не по размеру, что все время съезжает набок от ветра или поворота и качания головы в такт собственным шагам. Входную дверь закрывала теперь с большим усилием даже Лидия Андреевна, мать же перестала притворять ее совсем. По веранде, разбухшей от осенних дождей, словно опухшей от постоянного плача крыши, бесцеремонно разгуливал сырой ветер, проскальзывающий в трехсантиметровую щель... От мужа помощи было не дожидаться, брат почти совсем перестал здесь бывать. В один из своих приездов Лидия Андреевна взяла давно затупившийся топорик, весь в бурых пятнах, будто от запекшейся крови, и стала стесывать с верхнего ребра двери слой за слоем, чувствуя, как затекают и немеют руки... Остановилась со странным ощущением, что она живая, а руки стали словно тряпичная игрушка – онемели, будто гангрена за считанные минуты дошла от кончиков пальцев до предплечья... Она опустила плети-руки и начала энергично работать кулачками, точно сжимала резиновую пищалку, пытаясь извлечь из нее жалостливый всхлип. Почувствовала, как рука, словно натолкнулась на ежа: в ткань впивались сотни мелких иголок, вызывая уже нестерпимую боль, готовую сорваться стоном с губ, как вспугнутая кошкой птица...

Знаком вопроса вышла из комнаты мать и встала в двух метрах от дочери, с досадой ее разглядывая:

– Не смогла? А вот отец бы сделал!

Лидия Андреевна почувствовала, как ядовитые слезы побежали из глаз, будто из сливного бачка, который наполнился, но засорился и перестал запирать воду в себе...

— А я тебе не отец! Я не мужик, слышишь? Не мужик! Заставь своего любимого сынка сделать! — Развернувшись и, до звона расшатавшихся стекол хлопнув дверью, нырнула в свою комнату, с облегчением чувствуя, как горячая кровь по каплям вливается в затекшую ладонь...

В последние годы мать стали преследовать постоянные страхи того, что в саду ходят чужие люди. Например, она могла услышать сильное шуршание листьев или треск веток под ногами, будто ломали хворост для костра, — и замирала за дверью, боясь выглянуть, прислушивалась к шагам в саду. Это был то медлительный еж, то одичавшая брошенная уехавшими дачниками кошка, то соседская бесцеремонная собака, облюбовавшая их сад для своих прозаических нужд. Как Лидия Андреевна ни показывала притаившегося у крыльца под кустом жасмина ежа, ни говорила, что это соседский пес опять пробрался в их огород, мать, соглашаясь с ней, все равно пребывала в постоянной тревоге, что стояла в заброшенном доме, будто пропитавший все запах сигаретного дыма.

Она совсем перестала покупать одежду, ходила в латаной-перелатаной, аккуратно штопая мелкие дырки от моли и кожееда. Лидия Андреевна как-то предложила ей приобрести пальто, но мать отрицательно замотала головой. Будто знала, что ее жизнь кончается — и скоро ей не нужно будет ничего.

Мама вдруг стала стремительно терять слух. Лидия Андреевна с печалью начала замечать, что все чаще и чаще та просто не слушает ее, тихо, на цыпочках уходит в себя... И даже не пытается напрягаться, чтобы уловить хоть что-то знакомое в еле пробивающихся к ней голосах, таких для нее слабых и отдаленных, точно речь из телевизора из соседского дома. Говорить с ней становилось все труднее, словно плывешь против ветра, отплевываясь и задирая подбородок, чтобы не захлебнуться в складках реки... Надрывая голос, Лидия Андреевна пыталась что-то до нее донести, но мама не понимала... Она, видимо, не то, чтобы не слышала, иногда у нее вся человеческая речь сливалась в какую-то сплошную музыку типа клекота птиц... Слышишь, а на каком языке говорят, не знаешь... После такого диалога, еле прорывающегося сквозь шум прибоя, у нее страшно раскалывалась голова, затылок стягивало железным обручем, сердце бешено колотилось, запертое в грудной клетке, и пыталось вырваться на волю, будто из загоревшейся каюты. И она теперь тоже отчетливо начинала слышать этот неласковый шум прибоя, разбивающий вдребезги волны о скалы...

Слава богу, мама не всегда не слышала. Это было чаще всего в какие-то дни, когда она была сильно возбуждена.

Мама почти никогда не справляла своих дней рождений, но ее 85 лет решили отметить, хотя бы в семейном кругу. Помимо нее с мужем и детей, пришел брат с женой и ребенком. Это был странный день рождения. Мама сидела раскрасневшаяся, будто девочка, и очень оживленная; она даже умудрилась испечь пирог и приготовить студень, что уже не делала несколько лет. И ничегошеньки не слышала... Нет, она даже что-то такое, раздумываясь, радостно им рассказывала из своей жизни, ускользающей, точно ящерка из рук, оставляющая в них свой хвост... Но она совсем не участвовала в общем разговоре. Им всем тогда показалось, что можно говорить уже обо всем, что они от нее скрывали, она все равно не расслышит и не поймет. Это было так странно... Человек вроде бы тут, с тобой, но как бы и нет его... Уже там... Пару раз мама неловко попыталась встрять в разговор, но это было настолько невпопад, что они не выдержали и засмеялись. Засмеялись по-доброму, как

смеются и потом с гордостью рассказывают о своем подрастающем малыше, который пытался сморозить что-то взрослое...

Лидия Андреевна почему-то не раз со стыдом и болью вспоминала это... Зудящее воспоминание снова и снова выныривало из темноты памяти где-нибудь на очередном застолье, где все уже были слегка пьяны и воспринимали мир через дымку сигаретного дыма. Очертания лиц были расплывчаты, а от воспоминаний неожиданно тупой болью щемило сердце, как от незаметной маленькой занозы, ушедшей под кожу далеко вглубь.

Чем быстрее старела мать, тем сильнее зарастал сад. От деревьев, подступавших от кромки леса, уже не было никакого спасу. Так случилось, что, когда болел отец, некоторые дикие деревья успели вытянуться, стать гигантскими и заслонили свет в их и без того старый, медленно подгнивающий дом.

В один из приездов она заставила Андрея нанять мужиков, строивших один из особняков, чтобы те повалили вымахавшие деревья.

Это было как какой-то долгожданный просвет среди затяжных дождей... По мере того, как очередное дерево было повергнуто с помощью бензопилы наземь, открывалось все больше пространства, голубого, как чистые глаза ребенка. Сад делался огромным, дышалось легко, комары неожиданно перестали гудеть над ухом, веранда снова, как в ее детстве, стала вся залита солнцем. Лидия Андреевна гуляла по саду с радостным чувством какой-то упоительной свободы от груза прошлых лет, которые оказались заполнены затяжной болезнью отца и медленным угасанием сада. Она уже рисовала в мыслях ровные грядки, будто линейки в школьной тетрадке, заботливо засаженные, точно в ее детстве.

Мать, которую прогнали в дом, чтобы не путалась под ногами, раскрасневшись от возбуждения, вышла на улицу. Румянец был какой-то странный, неестественный, как будто румяна наложили неровными пятнами на сморщенную, точно смятая исписанная бумага, кожу. Восторгаясь, как ребенок, она воскликнула, радостно смеясь и качая головой:

– Надо же! Какой у нас большой сад! И на веранде, и кухне стало светло! Это же надо! Как хорошо!

И потом целый день оживленно бегала по саду, ровно маленькая девочка, неловко перешагивая через распиленные ветки, беспорядочно разбросанные перед фасадом дома на том месте, что было когда-то цветочной клумбой...

Ночью, часа в три, когда в комнате уже начали проступать очертания предметов, Лидия Андреевна проснулась, услышав шаги за дверью. Вздрыгнула от испуга, не понимая, что происходит, и слышала мамин голос:

– Открой!

Лидия поспешно, вся обмирая внутри от недоброго предчувствия, сунула ноги в тапочки и, споткнувшись о выступающую половицу, кинулась к двери.

Мать стояла в наспех накинута на ночную рубашку халате. Сердце Лидии Андреевны екнуло, ее будто стукнуло током слегка... В воздухе запахло электрическим разрядом...

Мать целеустремленно прошла в комнату и села на диван:

– Послушай, что я скажу. Мы зря порубили деревья. Я боюсь. Вас могут посадить!

– Мама, ты соображаешь вообще? Ночь! Кто нас может посадить? За что? Это наш сад!

– Когда ты была маленькая, на Федорова, который срубил у себя березу, завели дело.

– Мама, это когда было? Небось, при Сталине еще?

– Нет, ты меня послушай, послушай...

– Мама! Дай мне поспать, послезавтра мне на работу, дай мне хоть выспаться! Ты же вылетела совсем! Тебе сон дурной приснился! – Лидия Андреевна отвернулась к стене.

Но мать и не думала уходить. Целый час, как поцарапанная пластинка, прокручивала она когда-то виденный сценарий из своего детства, который теперь придется сыграть им...

Чувствуя, что закипает от раздражения, Лидия натянула подушку на голову и заорала:

– У тебя крыша поехала! Все! Я сплю!

Мать, как обезножившая, вжималась в продавленный диван... За окном уже медленно начинало подниматься солнце, окрасив край горизонта брызнувшим апельсиновым соком.

Что же такое все-таки есть наша память? Только что человек радовался образовавшемуся среди темного леса просвету – и вдруг что-то всплыло в проруби памяти, прорубленной в толстой корке льда, замеченной снегами... И вот уже человек испуган, раздавлен и боится хлынувшего света, что теперь слепит его до слез. Ему хочется заслониться от него, уйти в тень, забиться в угол, надеть черные очки, скрыться под маской, никабом, паранджой. Тот испуг вернулся искаженным эхом из детства – и перепутаны времена и даты: кажется, что снова кованые сапоги наступят на головки одуванчиков, припекаемые солнцем, но и это ничего не изменит... Одуванчики уже поседели. Их головы легки и пусты. Да, они будут вдавлены в глину – и из тоненькой трубочки стебля, наполненной белым молоком, которым так легко можно снимать отеки от осиных укусов, сок прольется не на больное место, а куда-нибудь на дождевого червяка или слизняка... А семена одуванчиков только быстрее полетят, ловко подхваченные легким ветром, чтобы поскорее осесть где-нибудь на другой поляне. И ничего не изменишь. Ход времени неотвратим, и его нельзя повернуть вспять, хотя кажется, что стрелки часов снова бегут по тому же кругу и завтра опять вернуться в ту точку, откуда они медленно, но неотвратимо удаляются.

Тот последний год был очень тяжелый. Мать начала слабеть, но даже не от болезней, просто организм исчерпал себя. Лидия Андреевна радовалась, что мама все еще себя обслуживает, но уже был заброшен огород и сад; покосившаяся изба, словно старуха горянка, пережившая всех своих сверстниц и давно отпраздновавшая свое столетие, вызывала щемящую жалость. Тем не менее мама всегда старалась Лиду накормить, готовила к ее приезду обед, налив полную тарелку супа, садилась напротив, подперев щеку, и смотрела, как дочь ест. Лидия Андреевна не очень-то это ценила и не совсем понимала, каких сил этот обед маме стоил. Поняла уже после, когда мамы не стало.

Мама стала все забывать. У нее никогда не было такого склероза, как у соседок, которые не узнавали своих близких. Нет. Но она спокойно могла потерять какую-нибудь вещь, скажем, ячейку из-под яиц, и это вызывало у нее гипертрофированную тревожность. Она начинала подозревать свою соседку, которая приходила к ней пару дней назад в гости. Однажды она забыла на столе пакет с остатками еды, что приготовила снести на помойку, и с недоумением на него смотрела, решив, что на сей раз ее соседка пакет этот ей оставила.

В тот год она давала ей инструкции, какие продукты не есть. В селе перестали держать коров – и Лидия Андреевна привезла ей магазинный творог. Мама сказала тогда: «Не покупай его! Это гадость. Мне с него плохо. Подумай, чем его заменить: может быть, кефиром или ряженкой...» Это после дойдет до Лидии Андреевны, что дело было не в магазинном безвкусном твороге, а в почках, не способных фильтровать белок. А тогда она подумала: «Ну вот. На рыночный творог никаких зарплат не хватит». То же самое она сказала ей о сгущенке, что вообще-то ела последние годы с большим удовольствием... И опять потом Лидия Андреевна узнала, что у мамы был повышенный сахар. Все-таки наш организм безошибочно чувствует, что ему можно, а что нет... Но удивило Лидию Андреевну не это, а то, что, стоя одной ногой в могиле, мама, следуя своему последнему опыту, давала ей инструкции, как питаться.

В один из приездов того последнего года Лидия Андреевна сидела за круглым домашним столом, за которым все они так любили собираться за чаем, и с грустью смотрела на мать. Кожа ее стала какой-то серой, будто сырая шпукатурка, покрытой сетью морщин, и делалась все более похожей на белый налив, который вытащили из компота и на месяц забыли, оставив на блюдечке на подоконнике. Яблоко постепенно теряло сладкую воду, пропитавшую его, все уменьшаясь и сморщиваясь, становясь как бы печеным...

Старческие руки вцеплялись в чайник корявыми пальцами, похожими на обрубленные лопатой корни, когда мать наливала ей чаю, – она, видимо, очень боялась уронить чайник. Лидия Андреевна хотела сделать все сама, но мама не давала. Мать сидела в нарядном белом кружевном воротничке от какой-то манишки из ее молодости, что был выставлен поверх строгого синего платья, аккуратно заштопанного во многих местах, и смотрела водянистыми глазами вдаль. Что она видела в той дали, было ведомо только ей... Она будто была уже не с Лидой, а где-то там, куда до поры до времени хода нет никому... Иногда улыбалась, словно ребенок, но улыбалась не миру, а про себя... Что она вспоминала? Кто стоял перед глазами – такой любимый и желанный?

– Мама, ты слышишь, что я тебе говорю?

– А? – Мать тяжело поднялась из-за стола и стала медленно убирать с него посуду в

раковину.

Вымыть посуду дочери она не дала. Категорически сказала, что сделает все сама. Лидия Андреевна ушла в комнату, чтобы немного там прибраться.

Через десять минут Лидия Андреевна услышала глухой стук падения чего-то очень тяжелого на веранде. Сжавшись в комок от недоброго предчувствия, она выскочила из комнаты. Мама растянулась на полу, на спине, и виновато улыбалась. Раскинутые руки лежали перекрученным жгутом подсиненного белья. Улыбка была, как у проснувшегося младенца. Рядом с головой по неровной половице растекалось темно-красное пятно. Оно было уже размером с блюдечко и медленно прибывало в диаметре. Лидия Андреевна, чувствуя, что потолок над ее головой тоже покачнулся и куда-то поплыл, будто простыни на веревке, вздуваемые ветром, крепко зажмурилась и попыталась приподнять маме голову. Ей это удалось. Из маминого темени сбегала красная змейка, похожая на забродившее вино из кувшина. Лидии Андреевне удалось кое-как подвинуть мать к стене, чтобы та оперлась о бревно. Обработав рану перекисью водорода, ей через десять минут удалось остановить кровотечение и наложить повязку. Рана была не очень глубокая, но почему-то кровь хлестала так, будто была перерезана крупная вена. Вытекло, наверное, с пол-литра крови. Вся веранда как-то незаметно оказалась заляпана липкими следами от тапочек. Однако мама уже оправилась и осторожно поправляла повязку на голове. Она, видимо, случайно запнулась о перекошенные половицы или просто подвернула ногу.

Попросив принести ей стул, мать оперлась всем телом о его сиденье и стала потихонечку подниматься. Лидия Андреевна попыталась помочь ей, но мама недовольно замотала головой и сказала:

– Я сама.

Примерно через час мама снова сидела за их обеденным столом и безмятежно пила чай, смотря на Лидию Андреевну глазами нашкодившего ребенка. Лидия Андреевна с облегчением думала, что все обошлось, но чувство испуга, необратимых перемен и неотвратимой потери с того дня прочно поселилось в ее сердце.

На следующий день как ни в чем не бывало мама вышла к завтраку. Лидия Андреевна ужаснулась, увидев ее. Половину лица у той занимало огромное чернильное пятно. Губы напоминали черные перезревшие виноградины: были распухшие и покрытые белым восковым налетом. Чернильное пятно стекало по шее в расстегнутый ворот ситцевого халата. Из коротеньких рукавов халата торчали две худеньких руки, казалось, обмотанные сморщенной кожей, как высушенным съезжившимся папирусом, и так же обляпанные огромными кляксами чернил. Мама опять виновато улыбнулась:

– Красивая я, да?

Лидия Андреевна почувствовала, как слезы навернулись у нее на глаза, и одна самая неловкая из них побежала вниз. Будто вода потихонечку сочилась из треснувшей трубы в перекрытие между потолком и полом, медленно накапливаясь там, – и вдруг, когда внутри все промокло уже насквозь, начала сочиться наружу. Капли теперь висели на потолке, одна за другой прибывая. Вот первая капля сорвалась вниз, за ней через минуту упала другая. И было ясно уже, что это надолго. Остановить процесс было невозможно. Теперь даже если трубу заменить или как-то залатать течь, то вода все равно будет сочиться из перекрытий еще долго-долго...

А мама, словно ничего и не произошло, бродила ситцевой тенью по дому, выходила в заросший сад, сидела на почерневшем крыльце, поросшем сизым лишаем, и блаженно

улыбалась, ловила сморщившимся лицом лучи последнего летнего солнца.

Ехать с Лидией Андреевной в город она наотрез отказалась. Да Лидия Андреевна и не настаивала, понимая, что им с ней будет очень тяжело. Взять ее с собой – значит нарушить и без того шаткое равновесие в их семейном очаге.

В ноябре, в очередной приезд Лидии Андреевны в деревню, все повторилось снова. Только теперь это произошло в комнате. Мать ударилась виском о порог. Крови на сей раз, наверное, можно было бы набрать целый маленький тазик. Лидия Андреевна, еле удерживаясь на ватных ногах, отжимала половую тряпку. А мать опять сидела умиротворенно в кресле и улыбалась. И вновь слезы, как из отсыревшего потолка, капали на пол.

Лидия Андреевна подумала тогда, уж не делает ли это мама специально, чтобы привлечь ее внимание, дабы, уезжая домой, любимая дочка видела все время ее страшное лицо, упрямо напоминающее спину умершего отца, когда его обмывали деревенские соседки, а Лида стояла в комнате и подавала им тазы и тряпки, требуемые командными голосами?

Последнее в маминой жизни лето было летом пожаров. Три месяца стояла нестерпимая жара, от которой земля растрескивалась так, что казалась вся покрытой темными незаживающими трещинами. Трава уже в июне превратилась в прошлогодний сухоцвет, потерявший от времени цвет и запах. Цветов в этом году не было. Засохли в бутонах, что смиренно качались маленькими сморщенными ягодками, создавая иллюзию вызревших плодов. Горели торфяники и леса. Пожары были верховые, в мгновение выгорали целые лесные массивы... Крона вспыхивала, точно умело сложенный в костре хворост; деревья размахивали своими обгорающими сучьями, пытаясь остудить их на ветру, но ветер только подхватывал и перекидывал с ветки на ветку рыжие языки пламени, облизывающие и сжирающие серые бескровные ветки, будто закопченные косточки, и переносил их играючи на своих реактивных крыльях на крону соседнего дерева, замершего в оцепенении перед неизбежной гибелью... И бежал дальше, дальше, оставляя в растрескавшейся земле огарки стволов, застывших, словно покосившиеся памятники на заброшенном кладбище, мчался вперед к новым деревням, слизывая с земли целые селенья и оставляя после себя плач и опустошение.

Солнце в этом году было без лучей. Его будто и не было вовсе. Висело в задымленном небе металлической тарелкой, словно луна в полнолуние, отливаясь плавящимся оловом. Два месяца жили, как в тумане. На расстоянии вытянутой руки было не увидеть ни лица близкого человека, ни своего расхристанного дома, ни кустов и деревьев, понурившихся в ожидании своего конца. Все растворилось в пепельном мареве, похожем на душную песчаную бурю, вырывающую с корнем все живое. Воздуха не хватало. Горький дым ел глаза, высекая ядовитые слезы, разъедал, будто кислота, сипнущее горло, ввинчивался в легкие. Люди задыхались, получали инсульты и инфаркты. Морги были переполнены и трупы не успевали вскрывать...

Лидия Андреевна поливала маму в саду из лейки, смотрела на свои исчезающие в дыме руки, ощущая, как липкий пот застилает глаза и ползет по спине вертявой ящерицей, – и сердце сжималось в предчувствии, что лето это последнее, когда она безоговорочно любима, и неизбежное расставание ни остановить, ни отсрочить: запаленный огонь стремительно бежит по полю жизни, уже начисто отрезав путь к возвращению, и дышит жарким своим дыханием в затылок, будто взбесившаяся гончая собака. Но ее чувства как-то притупились от жары, оплыли, точно свечной огарок... Она казалась себе пластилином или шоколадкой, поплывшей на солнцепеке, не в силах собраться в кулак – ни физически, ни мыслями. Только к утру она испытывала минутное облегчение, стоя в молочном саду и лоя кожей остывший угар прогорклого ветра. Она пыталась отогнать от себя гнетущее ее предчувствие, но оно, точно едкий дым, набирало силу, становясь плотнее и плотнее, сдавливая сердце, перебивая дыхание и застилая глаза сплошной пеленой, приклеившейся к лицу, словно белая простыня. Все лето жили они на грани обморока, на грани сна и небытия...

Жара отступила, как и пришла, внезапно, оставив за собой выжженное поле, по-прежнему клубящееся удушливым дымом. Лидия Андреевна стояла в сентябрьском саду, где деревья давно сбросили свои листья и их черные скелеты угадывались сквозь мглу, будто тени на стене комнаты в предрассветной мути, и внезапно подумала, что такое лето не может пройти бесследно. Что-то в отлаженном механизме ее жизни должно сломаться

окончательно и без надежды быть починенным. Чувство скорых потерь было так явственно, что она впервые испугалась их неотвратимости, точно неожиданно увидела мчащуюся на нее трехтонку, отскочить в сторону, от которой она уже не успеет, зажатая двумя встречными потоками машин...

В один из последних своих приездов, когда мама уже еле ходила по дому, шаркая по полу варикозными ногами, похожими на бутылки, – у нее началось очередное обострение гастрита, – она вдруг сказала Лидии Андреевне:

– Купи себе сапоги! – и протянула ей деньги. – Купи! Слышишь, не жалея, я даю тебе деньги на сапоги.

Лидия Андреевна приехала, конечно, в старых сапогах, но еще очень приличных (она еще потом два года их таскала бессменно), и год тому назад она купила себе новые, что лежали пока в коробке и ждали часа, когда развалятся их предшественники. Она показывала эти сапоги маме, так как та и тогда говорила ей о необходимости этой покупки. Ей в тот раз они очень понравились. Китайские, конечно, но фабричные, из мягкой замши, утепленные мехом и изнутри, и снаружи, будто оленьи унты. Слезы навернулись на глаза Лидии Андреевны. Хотела было напомнить, что мама все забыла и она уже купила себе сапоги, но ничего не сказала, согласно кивнула и взяла деньги, с тоской думая, что скоро они могут понадобиться на другое. Потом Лидия Андреевна почему-то все время вспоминала эту сцену. Мать сидит в кресле, повязанная платочком, одетая в байковый халат с красными маками по черному полю, на который напялена зеленая кофта крупной домашней вязки, что давно стала мала от многочисленных стирок и застегивается лишь на одну пуговицу, уродливо растягиваясь на животе; сидит с температурой, у нее все горит и болит внутри, и просит ее купить себе сапоги...

Брат всегда был в детстве зачинщиком их игр и развлечений. Лидочка постоянно шла у него на поводу. Зачем-то карабкалась по шершавой коре осокоря, ветви которого разрослись так, что образовали своеобразный шалаш, где они сидели, будто в кресле, невидимые снизу, высматривая прохожих на дороге, чтобы с криком кинуться к ним, пугая неожиданным своим появлением, как с неба. Катались на велосипедах, уезжали так далеко, как она сама бы никогда не рискнула, тщательно скрывая свое путешествие от взрослых.

Иногда брат заговорщицки на нее смотрел и предлагал: «Пойдем, поищем чего-нибудь вкусненького?» Она знала, конечно, где хранятся в доме сладости, и никогда бы не осмелилась сама вытаскивать их из хранилища – большого эмалированного бака, куда складывались все лакомства, чтобы не стать погрызенными мышами. Она крадучись отправлялась вслед за братом на их маленькую кухоньку, за печкой, в полутьме они находили большой бак – брат потихоньку приподнимал крышку и разворачивал кульки и пакетики. Они набивали полные карманы сладостями, прикрывая их ладонями. Потом устраивались где-нибудь в гамаке и сидели там, уминая их. Ни разу не были они схвачены за руку. Она после не раз думала: «А действительно ли мать не замечала их промыслов? Вряд ли... Скорее всего, просто закрывала глаза и делала вид, что ничего не видит...» Но Лидия отчетливо помнит это свое ощущение, что они делают что-то непозволительное, запретное, что делать нельзя и на что она никогда сама бы не только не решилась, но даже и мысли у нее о таком промысле возникнуть не могло.

Не раз с его подачи они весело удирали из детского сада домой. На столь отважный поступок маленькая Лидочка не решилась бы никогда. А Серега просто, хитро улыбаясь, подходил к ней и говорил: «Пойдем домой?» И они шли. Бежали по длинной проселочной дороге, весело смеясь тому, что это оказывается так просто: сбежать из-под надзора воспитательницы.

Но Сережа был зачинщиком не только шалостей. Он имел неплохие художественные способности и научил Лиду делать картины и барельефы из мягкого камня, опоки, что представляла собой слежавшиеся пласты глины, говорят, богатые кремнеземом. Была она белая, розовая, голубая... На этих цветных камнях брат ножиком или шилом создавал гравюры или вырезал какой-нибудь барельеф, потом раскрашивал свое творение цветными карандашами или акварелью. Лидочка с восхищением смотрела на его произведения и старательно пыталась перенять технологию. Но как у брата, у нее никогда не получалось... Чего-то ей не хватало. Делал он и поделки из дерева. Находил корень или ветку, напоминающие какого-нибудь зверька, снимал кору, отсекал ненужное, покрывал лаком, затем прибавлял к какой-нибудь деревянной подставке. Ставил их куда-нибудь на буфет. Эти поделки по сей день стоят в мамином доме.

Сергей поступил в институт легко, на радиофизический, где конкурс был в те годы небольшим, так как учиться было там трудно. Лидия редко виделась с братом, жили они по разным общагам. У того была какая-то праздношатающаяся компания – и знакомиться с мальчиками из его друзей Лидусе совсем не хотелось... Учился брат тоже без труда и хорошо, схватывал все на лету, но без конца ходил на какие-то дискотеки, гулял по кафе, собирался с компанией у кого-нибудь на квартире, имел свиту девиц, с которыми быстро расставался без особого сожаления, устремившись навстречу новой любви. По выходным, особенно летом,

они виделись в деревне. Там мать сумела как-то приспособить Сергея к хозяйству: и тот копал ей грядки, с удовольствием сажал картошку и лук, а потом горделиво хвастался урожаем. Лиде это все было уже немного странно. Она быстро стала городской, совсем не вспоминала и не хотела знать постепенно зараставший огород, думая о том, что у нее судьба должна быть иная. Это пусть двоечники-одноклассники выращивают морковь, а потом везут ее на городской рынок и стоят там в грязных перчатках с обрезанными пальцами, из которых выглядывают персты, напоминающие отработанную наждачную бумагу, испачканную ржавчиной, с траурной каемкой под неровно обломанными ногтями.

Сергей худо-бедно чинил матери крышу, вечно плачущую по весне и во время гроз в подставленные миски и тазики, надрывающую душу монотонной гаммой капли, почему-то напоминавшей ей пытку заключенного в Древней Греции. Латал гниющее крыльцо, на которое становилось порой страшно ступить – досочки его качались, усыхали и осыпались трухой, расходясь друг от друга, будто люди в старости; клеил в комнате новые обои, закрывая черные, рвано обкусанные по краям дыры, прогрызенные мышами; красил облупившуюся, словно нежная кожа после жаркого южного солнца, веранду. Иногда же заставить его что-то делать было просто невозможно. Он целые выходные гонял на моторке по реке или удил рыбу. Однажды, когда он повез их с подругой покататься, она нашла в случайно незапертой носовой части наполовину початую бутылку водки и с удивлением поняла, что ни одна вылазка Сергея на реку не обходится без того, чтобы открыть этот носовой ящик.

Брат начал пить лет с двенадцати. Сначала это были бесшабашные компании деревенских друзей и одноклассников, потом, уже когда он уехал учиться в город, общежитские пьянки. Поначалу довольно невинные, но после одной из пьяных забав Сергей был отчислен. Третьекурсники, шумно празднуя 23 февраля, набрались – и в эйфории от избытка женского внимания и хмельных напитков стали мазать тортами столы в аудитории... Казалось, что это всего лишь безобидная студенческая забава перепивших юнцов, но как-то так получилось, что он был выведен зачинщиком этого безобразия. Из пятнадцати участников попойки, среди которых был и сынок замдекана, Сережка оказался единственным уволенным из политеха. Больше в институт он не пошел: загремел в армию, но вскоре был оттуда комиссован как эпилептик. Они никогда не замечали у него этой болезни раньше. То ли она развилась в результате боевых действий «дедов», то ли от армейских тренировок, то ли дало себя знать, наконец, раннее пьянство, было неясно, но Сергей вернулся домой. Устроился работать на хлебозавод в цех, но через месяц оттуда уволился, так как совершенно не смог переносить жару, стоящую в цехе. После этого устроился на автозавод, но получал очень мало как не имеющий опыта и квалификации, однако ему дали комнату в общежитии. Вскоре женился на девочке на пять лет его старше, женился по залету, но та оказалась хорошей женой. И мать была рада, так как жена держала сына в «ежовых рукавицах», пить не давала и угроза нехорошей компании, неотступно маячившая на обозримом горизонте, отступила. Его жена работала участковым врачом, бегала по лестницам целый день, поднимаясь в квартиры гриппозных и более тяжелых больных. Девочка была городской, жила с матерью, что родила ее уже, когда ей было за сорок, и мать невестки откровенно недолюбливала привалившего в ее дом зятя, но родилась внучка – и приходилось на многое закрывать глаза. Тем более что зять был с руками: привел в порядок всю выведенную из строя сантехнику, сделал косметический ремонт, выкинул старую облезлую мебель и купил новую, посадил в их старом саду новые яблони взамен

вымерзших и стоящих обгоревшими скелетами, смастерил, хоть неказистое, но новое крылечко, вместо сгнившего, и даже теперь на завтрак они частенько имели бутерброды с красной рыбой или копченой колбасой.

С началом перестройки он, как и многие, ушел с завода и кинулся в предпринимательство. Сначала торговал сигаретами, потом пытался делать табуретки на продажу, занимался ремонтом квартир и, наконец, стал торговать бензином. Тут у него дела неожиданно для всех пошли в гору. Он практически не пил.

Жена, с виду хрупкая и мягкая, старалась держать его под жестким контролем. Наверно, ей это давалось очень нелегко. Она жаловалась свекрови, что муж под видом помощи той в деревне срывается с друзьями на рыбалку или на охоту. Как-то Наташа даже нашла в сливном бачке припрятанную бутылку, после чего постоянно говорила о том, что его необходимо незамедлительно лечить. Лидии Андреевне кажется, что она любила Сережу. Во всяком случае, она сама никогда не понимала, почему интеллигентная тихая Наташа жила с их «оторви да брось». Нет, не из-за денег... Хотя, несмотря на тяжелые времена и тихое пьянство, дела у Сергея, как ни странно, проворачивались весьма успешно. Он купил машину: сначала старенькие «Жигули», но вскоре «Жигули» были поменяны на «Волгу-24». «Волга» продержалась у него чуть больше года. Наступил черед иномарок. Лидия Андреевна реже меняла туфли, чем брат – машины. Сергей теперь много работал. Как все начинавшие свой бизнес, он крутился как белка в колесе, иногда снимая стрессы водкой. Частенько без выпивки просто нельзя было договориться с клиентом. Каждый год теперь они втроем с ребенком отдыхали на юге и даже съездили отдохнуть в Турцию. Он также побывал на далеком для Лидии Андреевны Кипре, что для Лидии Андреевны, как и для всего ее окружения, было недостижимой экзотикой, правда, сделал это он уже без семьи (мать жены жаловалась, что с любовницей). Сергей очень любил дочку Лизку, называл ее не иначе как «зайкой», и Лидия Андреевна, глядя на эту его любовь к дочери и чувствуя достаток в доме, однажды сказала брату:

– Если со мной что-то случится, ты забереешь моих детей?

Брат молча кивнул. Еще не пробежала тогда между ними черная кошка со вздыбленной шерстью и злобно горящими зелеными глазами, победно задрав хвост трубой, напоминающий черный столб дыма, сыпавшая искрами от наэлектризованной шерсти так, что удар током чувствовался на расстоянии. Еще не страшно было перешагивать через день ото дня росший барьер с тоскливым предчувствием, что за барьером бездонная пропасть: угловатый камень покачается и неловко выскользнет из-под подвернувшейся ноги...

Она потом не раз спрашивала себя, что же заставило ее задать этот вопрос... Она не собиралась умирать, да, конечно, в жизни бывает всякое, но ее Андрей был хорошим отцом. Он был более надежен и устойчив, несмотря на их весьма скромный достаток, чем брат... Что же это тогда было? Голос родной крови? Брат – он ведь все равно твоей крови, а муж чужой... Да, у них не было столько денег, сколько у Сергея... Но ее муж не пил... Она не могла его упрекнуть в том, что он совсем не занимался детьми. Пожалуй, брат уделял детям гораздо меньше внимания. Андрей же учил с детьми уроки, ходил с ними гулять, водил их в кино и цирк, на детские каникулы покупал билеты в театры и отправлял их туда с бабушкой. Летом ходил с ними купаться и по грибы, катался с ними на лодке, а зимой – на лыжах. Он делал ничуть не меньше и даже больше, чем другие отцы. И безусловно, случись что с ней, он никогда бы не отдал никому своих детей, тем более пьющему деревенскому парню, пусть хваткому и предприимчивому. Да тогда были живы и родители Андрея. Неужели они бы

отдали своих внуков в чужие руки? Нет, это трудно себе даже представить... Тогда почему вырвалась эта фраза? И зачем она повторила свой вопрос Сергею еще пару раз?.. И он снова согласно кивнул ей. Хотела ли она сделать больно Андрею? Но ведь тот не слышал ее просьбы. Тогда почему? В знак их детской дружбы, привязанности? Но жизнь уже давно постепенно относила их все дальше и дальше друг от друга, словно два куска расколовшейся льдины вскрывшейся ледяной рекой... Неужели брат был роднее мужа? Нет. Никогда. Уже через несколько лет они перестанут видеться почти совсем, будут только сталкиваться, точно прохожие в толпе, на дне рождения матери, и Лидия Андреевна будет ревностно следить за его женой, чувствуя поднимающуюся к ней неприязнь от того, что та так по-хозяйски орудует в их доме, и, пугаясь этой медленно, но неотвратимо закипающей в ней ярости, будто молоко, что поставили на раскаленную плиту, и оно медленно приподнималось в кастрюльке, пока температура не достигла критической... И вот молоко стремительно побежало через край...

Когда и как разошлись они с Сергеем? История их разрыва началась с того, что однажды невестка в свой приезд к их маме, когда Лидия с детьми были на даче Андрея, помогала свекрови убраться в доме и попросила у той золотые колечки для внучки Лизы. Сама ли мать показала их снохе или Наташа случайно наткнулась на них, но колечки были подарены снохе, вернее внучке, дочке любимого сына. Лидия Андреевна не носила колец, как и мама. Но что-то вдруг такое в ней щелкнуло, будто ногу неловко поставила на мышеловку. Нет, не попалась, конечно, но больно ударило, прищемило нежную кожицу, до кровоподтеков, до желто-лиловых синяков, напоминающих бензиновую пленку на глади озера.

В сущности, брат был добрым человеком. То, что он так и не закончил вуза, похоже, никак не сказалось на его карьере. Если ее семья в годы перестройки еле сводила концы с концами, то брат жил совсем неплохо. Приезжая к матери в деревню, привозил сыр, копченую колбасу, какое-то экзотическое печенье. Для них в те времена это казалось настоящими деликатесами. Она ловила взгляды своих детей, с завистью взирающих на дарованные продукты. Она стеснялась пробовать эти яства, брала маленький-маленький кусочек и думала о том, что время и жизнь разводят самых близких людей... И дело не в кусочке сыра, который один из них имеет, а другой нет... А в том, что один из них и есть та самая ворона, которой Бог тоже мог бы послать этот самый кусочек, только надо сесть на нужную ветку. Но вот садиться на эту ветку она почему-то и не желала... Мешали образование, интеллигентность, воспитанное у нее убеждение, что работа должна быть в радость и полученные знания должны приносить людям пользу. И страдала от того, что есть труд честный, доставляющий удовольствие, но почему-то не дающий достатка в твоём доме, и труд, которого нельзя не стыдиться...

А если это так, тогда почему Лидия Андреевна вжала голову в плечи, черепахой втянув ее под панцирь, и опрометью выскочила из магазина, наткнувшись на высокомерную усмешку молоденькой продавщицы, так толком и не рассмотрев выставленные на прилавке сапоги?.. «Все равно ведь не купите... И нечего рассматривать!»

Почему она почувствовала эту свою ущербность?

Ведь всю жизнь с не меньшим пренебрежением, чем взирали тогда на нее, смотрела на торговков на рынке. Они тоже были для нее людьми второго сорта, «барыгами», как называли их в ее семье, «торговками», «торгашами»... Нет, никогда бы она не смогла стоять на рынке и чувствовать себя полноценным человеком. Как бы и кем бы она могла тогда воспитывать своих детей? Вэтом было что-то для нее стыдное, запретное, впитанное с молоком матери.

Но ведь с братом они питались одним молоком... Тогда отчего Сергей чувствовал себя там в своей стихии и захлеб рассказывал байки из своей новой жизни? Впрочем, однажды у него прорвалось: «Я не работаю, а зарабатываю деньги». Лидии Андреевне тогда явственно почудилось в его голосе сожаление о том, что летает он не на своей высоте и не по своему маршруту.

И пожалуй, именно то, что он теперь преуспевающий торгаш, и разводило их все дальше и дальше друг от друга. Она внезапно обнаружила и после уже как данность принимала тот факт, что они с братом – в разных весовых категориях, у них различные взгляды на вещи и то, что такое «хорошо» и что такое «плохо», и почему-то все, что было «белое» у него, становилось «черным» у нее, и наоборот. Какой-то своеобразный эффект негатива. Она почти отождествляла новоявленных торговцев с «жуликами». И то, что брат у нее жулик, воспринимала со стыдом. Отхлебнув где-то незаметно в укромном месте из припрятанного «горлышка», Сергей становился иногда очень оживлен и словоохотлив. Болтал лишнее. Вещи, что она от него слышала, не на шутку пугали ее. Пугало услышанное и маму. Иногда она думала о том, что если он считает, скажем, подделку документов порядком вещей, то почему не может стать таким же порядком кража или даже убийство? Снова мир, как уже было в этом веке, перевернулся... «Кто был никем, тот станет всем... Мы наш, мы новый мир построим...» – почему-то вертелись эти строчки у нее на языке...

Впрочем, все чаще Сергей был мрачен, раздражителен и агрессивен. Редкая их встреча теперь обходилась без мечущих молниями перепалок и стычек, кончавшихся градом обвинений, которые долго потом не таяли и лежали леденящим грузом на зеленой траве ее воспоминаний и родственных привязанностей. «Родная кровь» впитала в себя бензиновые масла – и очищение уже было мало возможно. Дух наживы, будто алкоголь или наркотик, кружил голову, море слез казалось по колено, и жизнь спешили перейти, как поле.

Когда Сергей после одной из своих первых поездок в экзотические морские страны с эйфорическим опьянением рассказывал о том, как он спускался на воздушном шаре, Лидия Андреевна почему-то подумала, что он еще не спустился. Он еще медленно парит, подхваченный мощным потоком воздуха, несущим его туда, где можно попасть на выставленные скрещенными копьями ветки деревьев. Приземление еще впереди, но оно неизбежно и неотвратимо. Точки-домики все растут и растут в своих размерах, и, поначалу захваченный красотой открывшегося сверху вида, ты уже пугаешься вырастающих громад, маячащих своими острыми закопченными трубами и железобетонными крышами, ощерившимися вилами антенн.

Его теща по-прежнему жаловалась матери, что Сергей пьет, что его надо лечить, что он дурно влияет на ее дочь, вьет из нее веревки, вкладывает в ее голову свои мысли и желания и Наташенька стала совсем другая: из мягкой, спокойной и рассудительной девушки превратилась в неврастеничку, которая ни во что не ставит свою мать и совсем перестала к ней прислушиваться. Гладит мужу рубашку, а он ее надевает и молча уходит на свидание. Она совсем перестала понимать, что происходит: то ли у них какое-то соглашение ради ребенка, то ли дочь все еще его любит и поэтому все терпит, но он же точно завел «бабу» на стороне.

Со стороны нельзя сказать, что у них с женой были плохие отношения. Иногда он прилюдно обнимал ее за плечи, называл «мамкой», щедро украшал почти как мусульманин золотом: на ее изящных руках остались без колечек лишь большие пальцы.

Лидии Андреевне было смешно, что та насаживала столько колец, а еще сережки, три цепочки... И впрямь, как у восточных народов... Но там носят, так как боятся, что их

выгонят из дома и они смогут забрать только то, что на них надето... А тут...

Жена по-прежнему заботилась о Сергее, стирала ему белье, готовила, лечила.

Лидия Андреевна частенько видела брата с дочерью, сидящей у него на коленях. Дочь была уже здоровенная лошадка, но это ничего не меняло. Серега все так же, будто маленького ребенка, сажал ее на колени, слегка покачивая, словно в детской игре «По кочкам, по кочкам...» Кто ее придумал эту игру? Эту «По кочкам, по кочкам... В яму ух...»? И зачем сочинили? Кто-то решил с детства готовить ребенка к вечной скачке по кочкам, когда того гляди у рысака, несущего тебя в никуда, подвернется нога, или сам оступишься, споткнешься... Знаешь все это – и передвигаешься осторожно, смотря под ноги и оглядываясь назад, а потом вдруг раз... Все равно летишь в яму, норовя переломать не только ноги, на которых твердо стоял на земле, но и хребет... Только уже не смеешься, как в детстве, от неожиданности, чувствуя, что тебя все равно удерживают родные руки – знаешь, что это все игра, что это все не всерьез... И снова взбираешься на теплые колени.

В последние годы они почти не встречались с братом. Иногда соприкасались через мать, а так... Жизнь окончательно развела их.

Они были дружны в детстве... Но почему из детских воспоминаний у Лидии Андреевны постоянно всплывает одна сцена?

Июль. Они качаются в гамаке, забравшись в него с ногами и сидя друг против друга. Гамак был привязан к двум корабельным соснам, и поэтому там была всегда тень и спасительная прохлада в знойный летний день. Сосны простирали над их головами свои мохнатые зеленые лапы, ветер тихонько их покачивал, будто баюкал, раздвигая просвет в голубое небо, на котором не было ни облачка. Трудяга дятел где-то упорно долбил наверху. Лидочка запрокинула голову, ища по стуку красную шапочку этого врача деревьев, нашла. Дятел сидел высоко на шершавом стволе, обросшем рыжей коростой, и методично ее долбил, делая коротенькие передышки.

– Смотри! – радостно закричала она брату, собираясь поделиться увиденным.

И в этот момент оказалась на земле. Острые бугорки шишек вдавились в ушибленный бок. Услышала злорадный смех брата, медленно понимая, что это он специально раскачивал гамак, вцепившись в его веревки, чтобы она оказалась на траве... Она до сих пор помнит эту свою боль и недоумение от того, что она хотела поделиться своей радостью и протянула руку к дятлу, указывая брату путь для его взгляда, а он воспользовался ее непосредственностью, освободил себе место в гамаке и при этом противно ржет, как он ловко ее скинул. Задав в сердце плач, она засмеялась тоже... Она до сих пор не понимает, что заставило ее это сделать... Почему лежала в неловкой позе на земле, вдыхая плесенный запах мха, примяв щекой колючую траву и чувствуя виском ошестинившиеся дикобразом шишки? Почему побоялась показать, что ей больно, что она растеряна и обижена, а вместо этого заискивающе подвизгивала кутенком, глядя на братца снизу вверх? Может быть, от своей первой растерянности и потерянной в этом полете уверенности, что не могут твои близкие поставить тебе подножку и при этом еще и смеяться?

Его нашли поутру под их окнами... В полдень в их дверь позвонил участковый и спросил:

– Там под окном человек лежит. Не ваш?

Она вздрогнула, чувствуя, как горло перекручивает затягивающий его жгут и обмякают ноги, становясь силиконовыми, и, пружиня и качаясь на них, будто гуттаперчевый мальчик, пошла в комнату свекрови, где остановился брат. Внутренние створки окна были распахнуты, словно недочитанная книга. Наружное окно, заиндевевшее причудливыми узорами, ощерилось огромной звездой с расходящимися лучами обледеневших трещин, из которой тянуло ледяным зимним воздухом мироздания. Безмятежные снежинки влетали в комнату и тут же одна за другой исчезали, утратив свою кружевную белизну, перестав быть единственными и неповторимыми, в мгновение превращаясь в мокрую лужицу на подоконнике, где становились нераздельно слитыми с другими, беспечно залетевшими на тепло...

Все лицо и руки брата были изрезаны осколками разбитого стекла, просыпанными на тротуар, будто сколотый дворником лед. Часть порезов была стерта, точно пемзой, асфальтом, который дворник очистил поутру для спешащих по делам пешеходов, нещадно вколачивая тяжелый лом в толстый, чуть припорошенный начинающимся снегом лед, – чтобы ступать по двору было не страшно и все оставались целы.

Что мерещилось Сергею, когда он смотрел в звездный колокол неба, ставший внезапно похожим на старый, дырявый, траченный молью зонт? Жесткий ухват маленьких хищных челюстей прожорливой личинки – и новая звезда... Бабочки, летавшие тут и там в пыльной квартире, проделали себе путь к звездному небу... Купол раскинут все в том же доме, где пыль, похожая на пропитавшийся гарью и выхлопными газами тополиный пух, лежит мохнатыми гусеницами по углам, под диваном и шкафом... Желтый равнодушный свет брызжет из малюсеньких дырочек, и сладко веет наркотным холодом мироздания, ледяным, словно лоб, который целуешь в последний раз...

Она долго потом думала, что он жил бы, не заведи они его под Новый год домой. Жена положила его в больницу и подала на развод. Следует отдать ей должное, но брата уже не раз увозили с белой горячкой, не спящего по несколько суток и несущего воспаленный бред, похожий на обрывки звука с затертой временем киноленты. Лиза выросла – и жена Сергея перестала бояться остаться беззащитной. Сноха приходила к нему в больницу, но жить с ним больше не хотела. Впереди были праздники, выписывать Сергея никто не спешил, но мать почему-то все время зудела, что того надо оттуда забирать, иначе он не выкарабкается. Она сама вылечит его молоком на свежем воздухе. Вся интоксикация пройдет. А что он будет делать в праздники в духоте больницы? Да еще и дружки заявятся!

Андрей забрал тогда Серегу из больницы и привез к ним переночевать. Назавтра утром они должны были ехать вместе к маме...

О чем он думал, глядя в этот дырявый зонт? Что зонт подхватит его, и он будет качаться в люльке, как они любили когда-то в детстве, забравшись с ногами в гамак, в который мать приносила старое дырявое одеяло? Они раскачивались все сильнее и сильнее, норовя вывалиться из него, будто из опрокинутой на борт лодки, которую захлестнула случайная волна... Гамак взлетал все выше; они, заходясь от смеха, пихали друг друга ногами, покуда

один из них не летел вниз, а другой судорожно вцеплялся в веревку, врезающуюся в пальцы до долго не проходящей красноты, запечатлевшей на нежной ладони свои узлы, будто напоминая о том, что эти узлы уже не развяжутся: их можно только разрубить...

Первый раз приступ эпилепсии у Сергея начался в деревне. Он был какой-то беспокойный в тот свой приезд. Потом вдруг сорвался, и, невзирая на плохую дорогу, в колеях стояла мутная вода и машины плыли по ним, точно катер, поехал в город, сказав, что скоро вернется. Это потом она поняла, что ездил он туда за бутылкой...

На следующий день мать попросила его посмотреть люстру. В той горела одна последняя лампочка. Сергей встал на табуретку, принялся ковыряться в патроне и вдруг, неожиданно взмахнув руками, полетел вниз. Сначала Лидия Андреевна подумала, что табуретка покачнулась и он просто потерял равновесие...

[Купить полную версию книги](#)

notes

Примечания

Здесь и далее стихи автора.